

М. Г О Р Ъ К И Й

С К А З К И
о б
И Т А Л И И



Д Е Т Г И З . 1 9 4 8

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

М. ГОРЬКИЙ

СКАЗКИ
ОБ ИТАЛИИ



Рисунки Т. Шишмаревой

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР
МОСКВА 1948 ЛЕНИНГРАД

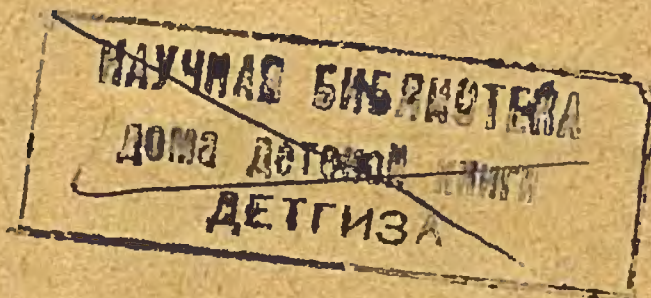
· **ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА**

В сборник вошли избранные сказки,
наиболее близкие юношеству

Печатается по тексту издания:
М. Горький. Собрание сочинений,
т. XIV, ГИЗ, 1930 г.

Вступительная статья
К. Д. МУРАТОВОЙ

~~5181~~ 



„СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ“ М. ГОРЬКОГО

1

«Сказки об Италии» были созданы М. Горьким в 1910—1913 годах, в эпоху нового революционного подъема. Они продолжили традиции революционного романтизма и подобно «Песне о соколе» и «Песне о буреизвестнике» звали на борьбу за жизнь, достойную человека. Недаром В. И. Ленин назвал их «революционными прокламациями».

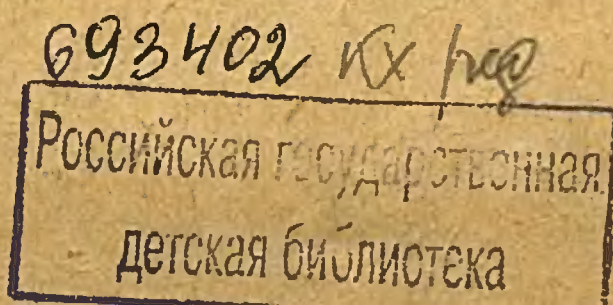
Бодрый тон, героическая тема и социалистический гуманизм «Сказок» коренным образом отличали их от литературы эпохи реакции. Они практически выполняли задачу пролетарской литературы — войти в самую гущу жизни и с подлинной страстью бороться за социалистические идеалы.

В «Сказках об Италии» Горький показал, как формируется новое сознание людей, как «идеи социализма просачиваются в быт» и преобразуют его. «Побольше фактов, картин, характеров, — это лучше запомнится, глубже действует».

Писатель знал, что эти яркие картины пробудят интерес к жизни, приведут к глубокому раздумью и революционным выводам.

Как представитель новой литературы, устремленной в будущее, Горький требовал от писателя — друга людей умения найти новое и хорошее в жизни и показывать его, не боясь даже некоторого преувеличения.

Изображение героического подвига, революционной целеустремленности, высоких моральных качеств человека должно было оказать живую помощь трудящимся в их борьбе.



В предисловии к неосуществленному изданию «Сказок об Италии» в 1919—1920 годах Горький писал:

«Кроме огромных недостатков в людях живут маленькие достоинства, и вот именно эти достоинства, выработанные человеком в себе самом очень медленно, с великими страданиями, — эти достоинства необходимо — иногда — прикрасить, преувеличить, чтобы тем поднять их значение, расцветить красоту ростков добра, которые — будем верить! — со временем разрастутся пышно и ярко...

«Мы любовно ухаживаем за цветами, мы пламенно любим множество других прекрасных бесполезностей, таких же, как цветы, а вот за душой человека, за сердцем его, — не умеем так ласково ухаживать, как следовало бы».

С благородной целью воспитать нового человека-борца, верного идеям социализма, возбудить в нем стремление к яркой, красивой, духовно богатой жизни и борьбе за нее и были созданы «Сказки об Италии».

2

Герои итальянских сказок — скромные труженики, маленькие люди. Это рыбаки, крестьяне, рабочие. Их созидательный труд обогащает землю, и они понимают его значение. «О, синьор, — говорит один из строителей Симплонского туннеля, — маленький человек, когда он хочет работать — непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет».

Горький показывает своих героев и в общественной жизни, и в быту. Общий труд роднит их, заставляет бережнее относиться друг к другу. Любовь к жизни, к человеку — отличительная черта этих людей.

«Сказки» начинаются рассказом о забастовке в Неаполе. Раздосадованная толпа горожан, «которым надо ехать по делам во все концы огромного города», перебранивается с забастовщиками, крепко связанными «непоколебимым решением, что они не уступят». Но первая же реальная опасность сближает обе стороны. Вместе с трамвайщиками ложатся на рельсы и горожане, чтобы помешать солдатам сорвать забастовку.

А вот и другая, не менее яркая картина. Забастовали рабочие Пармы.

Им не легко переносить лишения. И жители Генуи приходят на помощь, берут к себе детей забастовщиков. Они делают это просто, весело, превращая встречу изголодавшихся ребят в радостный праздник.

Товарищество, дружба, классовая солидарность облегчают людям жизнь, помогают им бороться и преодолевать трудности.

Свадьба бедняков в итальянской деревушке вызывает интерес у всех жителей коммуны. Каждый стремится чем-нибудь порадовать молодоженов. Старый заброшенный хлев, отведенный им, превращается в красиво убранное жилище. «У нас было все: вино и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!» — говорит старик, вспоминая свою женитьбу.

3

Центральное место в сборнике занимают сказки о матерях. Горький придавал этим произведениям большое значение. «Читали Вы мою сказку «Мать»? Это в Итальянских сказках, — спрашивал Горький писательницу Н. Чертову в 1928 году. — В этой поэме я выразил «романтически» и как умел мой взгляд на женщину. Не поймите мой титул «Мать» чисто физиологически, а аллегорически: Мать мира, Мать всех великих и малых творцов новой природы, новой жизни. Мне кажется, что женщина должна отправляться к свободе от этой точки, от сознания мировой роли».

Образ матери в сказках Горького — олицетворение всего живого. Но, слагая гимн во славу женщины, Горький воспевает не инстинкт материнства, а творческую силу, заложенную в любви матери, подарившей миру «великих» и «малых» ее героев.

«Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! Аристотель сын ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер — это все Ее дети, все они пили Ее молоко и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана, вся гордость мира — от Матерей!»

Сила любви матери для Горького не в слепой любви к своему ребенку, а в желании подарить жизни того, кто украсит ее.

В первой сказке мать в поисках похищенного сына преодолевает все препятствия.

«Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса?» — спрашивает женщину Тимур-ленг, грозный завоеватель мира. И мать говорит, что она переплыла море и реки, почти не заметив их, так как когда «ищешь любимое — дует попутный ветер».

Воин-барс, заливший потоками крови земли побежденных, столкнулся с обыкновенной женщиной, преображенной силой своей любви. Сопернику смерти в сборе богатого урожая Горький противопоставил не менее сильного соперника в лице Матери, как вечного источника жизни, ее творческого начала. Горьковская героиня пришла не просить, а требовать. И покорно склонился перед силою этой деятельной любви, основанной на сознании, что пропавший ребенок — лучшее дитя мира, будущее украшение его, сам железный Тимур, олицетворение грозного разрушения. Творческое начало победило. Жизнь восторжествовала над смертью.

«Вот — сидит передо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а — требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина — она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее — искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века», — говорит Тамерлан.

Все три «сказки», рисующие образы матерей, рассказывают не только о силе созидательной материнской любви, но и о глубокой любви к своей родине. Две матери — героини сказок — убивают своих сыновей, когда убеждаются, что их дети не украшают землю, а обедняют ее. Один из них, урод, вызывает оскорбительную мысль о вырождении нации, другой, полководец, утверждает своею деятельностью начало смерти. В поисках личной славы и личных подвигов сын Марианны переходит в лагерь врагов родины. Мать напоминает ему, что истинный герой «тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть». Но опьяненный успехами полководец возражает ей. «Разрушающий так же славен, как и тот, кто создает города», — говорит он. Жажда славы умертвила сердце юноши, и мать убила сына-изменника, — ведь он был только «красив, но бесплоден, как молния».

Все три «сказки» объединены общей идеей. Легенда о матери, убившей сына-предателя, по-иному осветила и поступок рядовой итальянской патриотки. Поставленный в легенде вопрос о бесплодности воли, направ-

ленной только на дело разрушения, был разрешен в легенде о Тамерлане, преклонившемся перед силой материнской любви.

4

Горький не стремился воссоздать в «Сказках об Италии» этнографически точную картину итальянской жизни. Он считал, что чувство классового единения, гуманизм, радостное ощущение творческого труда — характерны не только для итальянского народа. Горький подчеркивал интернациональность этих черт, присущих людям труда. Рассказы об итальянских тружениках он назвал «недурным материалом для чтения русских рабочих». «Сказки», посвященные «социалистам и социализму в будни», публиковались и в итальянской, и в русской, и во французской социалистической прессе. Переводились они и на другие языки. Их идеи были одинаково близки трудящимся всех стран.

Отказавшись от этнографизма, Горький однако сохранил в своих «Сказках» местный колорит. Он дал красочные зарисовки итальянского пейзажа, создал лирический образ итальянца, влюбленного в щедрую природу своей страны.

Таковы герои «Сказок» — старые и юные рыбаки, и мальчик Пепе, веселый озорник и мечтатель. Люди «Сказок» ощущают свою неразрывную связь с окружающей их природой. «Еще в ранней молодости изменил земле ради моря» Джiovанни Туба. Только глубокая старость разлучила его с ним. Но не мог Джiovанни забыть простора, в котором «растаяла его жизнь». В тихую ночь он уплыл далеко в море, чтобы умереть на свободе, среди родных волн.

Горький уделил большое внимание композиции цикла «Сказок об Италии». Рассказы на социальные темы чередуются в них с беглыми зарисовками итальянского быта. «Сказки» о встрече детей Пармы и постройке Симплонского туннеля помещены рядом с рассказом об обеде мостовщиков.

Ярко солнце, щедра природа и также щедр человек-творец, воздвигающий чудесные города. Он умеет работать и умеет отдыхать, любясь красотой окружающего. Маленькая девочка бросает алые лепестки цветка в чашу с вином. Старик мостовщик приветствует ребенка, его радует неожиданный дар юности.

Любовь к красоте, к ярким краскам рождает желание украсить жизнь.

Горький высоко ценил эту черту итальянского народа. «Вчера каприйцы устроили какой-то праздник, — писал он в 1907 году, — была хорошая погода, и люди сочли это достаточно серьезной причиной для безделья и радости. Какой они устроили фейерверк изумительный. Ничего подобного я никогда не видел. На горе, темной ночью огонь играл целые симфонии... Целый день гремела музыка...»

В героях «Сказок» Горький подчеркнул особенности, наиболее ценные им в человеке: демократизм, социальный романтизм и гуманизм. Проникнутые огромною любовью к жизни «Сказки» утверждали, что «нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира!»

5

Появление «Сказок об Италии» было враждебно встречено всей буржуазной критикой. Нападкам подверглось заглавие сборника¹ и тематика рассказов. Критика не находила ничего сказочного в эпизодах из жизни итальянских бедняков. Эпиграф из Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь», предпосланный циклу «Сказок», остался вне поля зрения критиков. А между тем именно этот эпиграф, перефразирующий наиболее часто встречающееся в сказках и мемуарах Андерсена высказывание о жизни, «как чудеснейшей из сказок», является основным ключом, раскрывающим как замысел, так и идейную целеустремленность горьковских рассказов. Эпиграф же предопределил и выбор заглавия.

Термин «сказка», «сказочность» часто встречается у Горького при описании реальных бытовых фактов. Старое понятие писатель наполнил новым содержанием. Сказка — это не необычное явление, требующее вмешательства «волшебных» сил. «Сказочность» — в упорстве борьбы за перестройку жизни, в необыкновенном богатстве творческих возможностей человека.

Строитель Симплонского туннеля говорит о победе людей над природой: «Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как в сказке!»

¹ Первое издание горьковских рассказов в 1913 г. вышло под заглавием „Сказки“. Наименование „Сказки об Италии“ они получили в 1915 г.

Горький не пытался создать новый жанр сказки. Будучи отличным знатоком русского фольклора, он познакомился и с фольклором Италии, но это не нашло отражения в его творчестве. В «Сказках об Италии» писатель не использовал никаких элементов условной сказочности. Все рассказы, за исключением двух легенд о матерях, созданы на реалистической основе. Поиски традиционной жар-птицы заменились у Горького борьбой за социалистические формы жизни, скатерть-самобранка — заботой коллектива о своих членах. Горький писал о своих рассказах: «Это картинки действительной жизни, как она показалась ему [писателю] в Италии, он назвал эти картинки сказками только потому, что и природа в Италии, и нравы ее людей, и вся жизнь их — мало похожи на русскую жизнь и русскому простому человеку действительно могут показаться сказками».

Большую роль в «Сказках об Италии» играют краткие изречения, которые часто раскрывают замысел горьковских рассказов. Такова предсмертная заповедь рыбака сыну-юноше: «Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего — думай, что хорошего больше в нем — так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».

Подобные изречения мы часто встречаем и в других сказках. «Всё, что сделано до меня — до нас — руда, которую мы должны сделать сталью»; «молодость — это совесть всей жизни» и др.

Создавая рассказы о героическом поведении «маленьких» людей, Горький много поработал над их речью. Новые формы жизни обогатили человека, сделали чужими старые житейские правила. Афоризмы «Сказок об Италии» — новая народная мудрость, противостоящая старым пословицам и поговоркам.

«Социалисты! О, друг мой, рабочий человек рождается социалистом, как я думаю, и хотя мы не читаем книг, но правду слышим по запаху, — ведь правда крепко пахнет и всегда одинаково трудовым потом!» — говорит один из героев «Сказок».

Революционная целеустремленность горьковского творчества получила высокую оценку В. И. Ленина. «Горький ...крепко связал себя своими великими произведениями с рабочим движением России и всего

мира», — писал он в 1909 году. Писатель был активным участником большевистской печати. Первые рассказы из цикла «Сказок об Италии» были опубликованы в газете «Звезда».¹ Пропагандистское и художественное значение этих произведений огромно. «Великолепными сказками Вы очень и очень помогали «Звезде», и это меня радовало чрезвычайно», — сообщил Ленин автору в начале 1912 года.²

Высокую оценку Ленина получило и художественное своеобразие социальных рассказов Горького. Созданные в годы революционного подъема в стране, «Сказки» сыграли значительную роль в формировании мировоззрения новых борцов.

В наши дни «Сказки об Италии» не потеряли своего значения. Они являются не только замечательным литературным памятником, характеризующим важный этап в развитии революционных идей, но и художественными произведениями, до сих пор волнующими советскую молодежь.

Когда редакция газеты «Смена» (Тверь) обратилась к Горькому с просьбой указать, что из своих произведений он считает наиболее интересным для нашей молодежи, писатель ответил: «Пожалуй рекомендовал бы «Мать» из «Итальянских сказок». Мне кажется, что теперь перед матерями стоят новые и огромные задачи по отношению к детям и что девушкам комсомола следует подумать и над этой своей ролью в жизни».³

Идеи горьковских «Сказок» необходимы для воспитания в новом советском человеке революционного героизма, бодрого, оптимистического восприятия жизни и великой веры в творческие силы трудящегося человечества.

К. Муратова

¹ «Звезда» — легальная большевистская газета, выходившая в Петербурге в 1910—1912 годах.

² Письма Ленина Горькому, М., Партиздат, 1936, стр. 64.

³ Полевой Б. и Куприянов Г. Письма из Сорренто. Калинин, Облиздат, 1936, стр. 111.

*Нет сказок лучше тех, которые
создает сама жизнь.*

Андерсен



ЗАБАСТОВКА

В Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Кияния вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов — всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают всерами темнозеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки — полуголые дети неаполитанских улиц — скачут точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулками ударами — точно бубен гудит.

Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки:

— Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макароны?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений, в узкой улице, вдоль стен домов стоит отряд карабинеров, с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещевания — всё вдруг затихает, над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние — забастовщики смотрят угрюмее и, в то же время, сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы:

— Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки, — они стали еще угрюмее и в ответ на возгласы толпы — сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише.

Легким танцующим шагом с набережной Санта Лучия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним подпрыгивая бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами.



Толпа отхлынула от вагонов — солдаты, точно серые бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

— Последний раз... *Ultima volta!* Слышите?

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову; к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь и — раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным — вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас — погас, и люди молча, с вытянутыми, посеревшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжело отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий как обезьянка юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают и стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами, — он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров — вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но — вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвыла, хлынула на рельсы — человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ним на рельсы стали падать — точно им ноги подрезали — какие-то веселые шумные люди, люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь строили друг

другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы всё сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком точно озябшие собаки, перекатывались с боку на бок пачкаясь в пыли какие-то прилично одетые люди.

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груды тел под колесами и — хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь — они не похожи на жестяные заводные игрушки.

...Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:

— Биллетти?!

Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.



ВСТРЕЧА ДЕТЕЙ

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа — преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы — члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале — фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и — победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами: — Побеждают только верующие.

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики — на площади тихо, душно и всё обито жарким солн-

цем. На балконах и в окнах домов — женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив — толпа дрогнула, точно черные птицы взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

— Кого встречают?

— Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд — очень маленькие, пыльные, видимо усталые. Их лица серьезные, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди, — по этим худеньким, острым и голодным личикам — пробегает, веселою рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, перед ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей, — они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг — как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди крикнули:

— *Yiva Italia!*¹

— Да здравствует молодая Парма! — гремит толпа, опрокидываясь на них.

— *Evviva Garibaldi!* — кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Всё стало праздничным, всё ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

¹ Да здравствует Италия!



Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и всё гремит в воздухе непрерывный, мощный крик:

— Viva il Socialismo!

— Evviva Italia!

Почти все дети расхвачаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то суровых, усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

— Вы берете двоих, Аннита?

— Да. Вы тоже?

— И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

— В наше время об этом не думали! — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

— А — так просто...

— Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидев около себя двух ребят из Пармы, видимо братьев, сделал грозное лицо, ошетинился — они смотрели на него серьезно — нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он — встал, поправил шляпу и, решив, что сделал всё, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь.

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими серыми волосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и — плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая идет черноволосая гемуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она всё падает ему на лицо. женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув

голову — весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

— Понимаешь — если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжественно хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

— Evviva Parma-a!

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа факино и над ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.



ПОЛУДЕННОЕ СОЛНЦЕ

Душный полдень, где-то только что бухнула пушка — мягкий, странный звук, точно лопнуло огромное, гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали ощутимее, острее пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретою пылью.

Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой.

Город — празднично ярок и пестр, как богато расшитая риза священника; в его страстных криках, трепете и столах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город — храм, возведенный трудами людей, всякая работа — молитва Будущему.

Солнце — в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья — солнце.

Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать, многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают

в море, — смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина.

Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек, — всё это — и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей — вздымается к солнцу, как веселая жертва ему.

На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков, — серые, сухие и крепкие камни. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный, зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязаный колпак с кистью, она падает ему на лицо, старик встряхивает большой, апостольской головою, и его длинный нос попугая сопит, раздуваются ноздри.

Рядом с ним на теплых камнях лежит, вверх грудью, бронзовый и черный, точно жук, молодец; на лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то вполголоса, — точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют.

К ним идет мальчик с фьяской¹ вина в руке и небольшим узлом в другой, идет, вскинув голову, и кричит звонко, точно птица, не видя, что сквозь солому, которой обернута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина.

Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою зовет мальчика:

— Скорее, слепой! Смотри — вино!

Мальчик приподнял фьяску в уровень с лицом, ахнул и быстро побежал к мостовщикам — они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фьяску, а мальчишка стрелою умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках.

Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в него красную живую струю, — четыре пары глаз любуются игрою вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают.

Идет женщина в бледноголубом платье, на ее черных волосах золотистый кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку; размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая:

¹ Фьяска — фляжка.

— О, ма, о, ма, о, миа ма-а...

Остановясь за спиною старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит, как течет вино в желтую чашу, течет и звучит, точно продолжая ее песню.

Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина.

Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы — девочка била в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами, сконфуженная мать ловила ее руку, что-то говоря высоким голосом, мальчишка — хохотал, перегибаясь, а в чаше, по темному вину, точно розовые лодочки, плавали лепестки цветов.

Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан ко рту, успокоительно, серьезно сказал:

— Ничего, синьора! Дар ребенка — дар бога... Ваше здоровье, красивая синьора, и твое тоже, дитя! Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива...

Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу.

Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качалась, шаркая ножонками по камню, и кричала, щурясь:

— О, ма-а... о, миа миа-а...

Мостовщики, устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочке, смотрят и, улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу.

А в чаше, на поверхности темнокрасного вина, качаются алые лепестки цветов.

Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки.



ТУННЕЛЬ

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и всё вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груды щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.¹

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом — она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно!

¹ Симплонский туннель — туннель между Италией и Швейцарией, протяженностью около 20 километров.

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать — не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану, — земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости, — это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь! Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень, — забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор; мы, люди — такие маленькие, и она, эта гора — до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли, — надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек — умеет работать! — продолжал он с гордостью. — О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать — непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это:

— «Прорезать гору насквозь из страны в страну» — говорил он — «это против бога, разделившего землю стенами гор — вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать, почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— «Дети бога» — это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек — «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца и когда коснемся его — оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли — огненное, это знают все! Возделывать землю — это так, помогать ее родам — нам заповедано,

а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

— Не один он думал так, и это верно было: чем дальше — тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— «Разве я не прав?» — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше... «Разве я не прав?» — говорил он. — «Это непобедимо, земля!»

— И наконец — лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— «Моя работа — кончена, Паоло» — сказал он мне однажды ночью. — «Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» — Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

— Взял за руку меня, привлек к себе и говорит — святая правда, синьор! — «Знаешь, Паоло, сын мой, я, все-таки, думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся — ты веришь в это?»

Я — верил.

— «Хорошо, сын мой! Так и надо: всё надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди — приди ко мне на могилу и скажи: отец — сделано! Чтобы я знал!»

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал, в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тридцать недель после смерти отца — это был безумный день, синьор! О, когда мы услышали там, под землею, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землею — вы поймите, синьор, — под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

— Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей — мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущающая усталости, не требуя указаний — это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человеческими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда, наконец, рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы, и лица, и загремели крики победы, крики радости — о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую — нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю — в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

— Конечно, я пошел к отцу, о, да! Конечно, — хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал — не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал — как он желал этого:

— Отец — сделано! — сказал я. — Люди — победили. Сделано, отец!



СВАДЬБА

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внес к нам маленького кривого старика.

— Очень стар! — в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

— Позволите?

Ему дали место, он сел, вздохнул облегченно и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

— Далеко, дед? — спросил мой товарищ.

— О, только три станции! — охотно ответил кривой. — На свадьбу внука еду...

И, через несколько минут, словоохотливо рассказывал под шум колес поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

— Я — лигуриец,¹ мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот, у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь считая внуков, это второй женится — хорошо, неправда ли?

¹ Л и г у р и е ц — житель одной из областей Северной Италии — Лигурии.

И гордо посмотрев на всех выцветшим, но еще веселым глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

— Вот, сколько дал я людей стране и королю!

— Как пропал глаз? О, это было давно, еще мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня — это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили теплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потер бурую, дряблую щеку, снова улыбаясь добродушно и весело.

— Тогда не было так много докторов, и люди жили глупее, — о, да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и ликующим.

— Когда живешь так много, как я, можно говорить о людях смело, неправда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый темный палец, точно грозя кому-то.

— Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

Когда умер отец — мне было тринадцать лет, — вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе — это всё, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так и я жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда — так?

В девятнадцать лет встретила девушка, которую мне суждено было любить, — такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и как я — работала, где могла. Не очень красивая, но — добрая и умница. И хороший голос — о! Пела она, как артистка, а это уже — богатство! И я тоже не худо пел.

— Женимся? — сказал я ей.

— Это будет смешно, кривой! — ответила она невесело. — Ни у тебя, ни у меня нет ничего — как будем жить?

Святая правда: ни у меня, ни у нее — ничего! Но — что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я настаивал и победил.

— Да, пожалуй, ты прав, — сказала, наконец, Ида. — Если святая

мать помогает тебе и мне теперь, когда мы живем отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!

Мы пошли к священнику.

— Это — безумие! — говорил священник. — Разве мало в Лигурии нищих? Несчастные люди, игрушки дьявола, вы должны бороться с его соблазнами, иначе — дорого заплатите за вашу слабость!

Молодежь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость — упряма и, по-своему, умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

— Мы уйдем в поле! — сказала Ида. — Почему это плохо? Мать божия везде одинаково добра к людям.

Так мы и решили: земля — постель наша, и пусть оденет нас небо!

Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания, — это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром за день до свадьбы, старик Джiovанни, у которого я много работал, сказал мне — так, знаете, сквозь зубы — ведь речь шла о пустяках!

— Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нем.

Вот у нас и дом!

Работаю я, пою — в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

— Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня ее, есть лишняя.

А когда я шел к нему, сердитая Мария — лавочница — закричала:

— Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне твою невесту...

А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

— Спроси его — много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?

На щеке старика в глубокой морщине засверкала веселая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, трясая изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками.

— О, синьоры, синьоры! — сквозь смех, задыхаясь говорил он, — на утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома — статуя мадонны, посуда, белье, мебель — всё, клянусь вам! Ида плакала и смея-





лась, я тоже, и все смеялись — нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами!..

— Синьоры! Это дьявольски хорошо иметь право назвать людей — наши! И еще более хорошо *чувствовать* их своими, близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь — не шутка, твое счастье — не игра!

— И была свадьба — э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал богатым домом... У нас было всё: вино и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!

— И священник был. Вот, — говорил он, строго и хорошо, — вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали для вас, а работа — выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за нее! Деньги — исчезают, работа — остается... Эти люди — и веселы, и скромны, они жили трудно и не жаловались, они будут жить еще труднее и не застнут — вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и еще лучше их сердца...

— Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

— Вот, синьоры, кое-что о людях, — это вкусно, не правда ли?



ПРОПАГАНДИСТ

Весна, ярко блестит солнце, люди веселы и даже стекла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло.

По улице маленького городка пестрым потоком льется празднично одетая толпа — тут весь город, рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки, — все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют и все — как одно здоровое тело — насыщены радостью жить.

Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей, точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля, сверкают, смеясь и ликуя, дети, веселые владыки земли.

Бледнозеленая листва деревьев еще не распустилась, свернута в пышные комки и жадно пьет теплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе.

Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастья, вчерашний день был последним днем тяжелой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твердой, веселой верою в себя — в непобедимость своей воли, пред которой всё должно склониться, и вот теперь дружно и уверенно идут к будущему.

И было странно, обидно и печально — заметить в этой живой толпе грустное лицо: под руку с молодой женщиной прошел высокий, крепкий человек; наверное — не старше тридцати лет, но — седоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое, здоровое лицо спокойно и — печально. Большие, темные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им.

— Обрати внимание на эту пару людей, — сказал мне мой товарищ, — особенно на него: он пережил одну из тех драм, которые всё чаще разыгрываются в среде рабочих северной Италии.

И товарищ рассказал мне:

«Этот человек — социалист, редактор местной рабочей газетки, он сам — рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание становится верой, а вера еще более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал,¹ — видишь, какими глазами смотрят черные священники в спину ему!

Лет пять тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо, священники развивали в них эту способность много веков и добились, чего хотели, — кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ; мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит гееной — она только любит, жалеет, прощает — ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь.

Но вот, он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в ее вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а часто — страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках, — каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему, если же она спрашивала о чем-нибудь — ее слова звучали враждебно, и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке ее слово пользуется не меньшим вниманием, чем его.

¹ Антиклерикализм — борьба с влиянием духовенства.

Здесь относятся к женщине значительно упрощеннее и грубее, чем в России, и — до последнего времени — итальянки давали много оснований для этого; не интересуясь ничем, кроме церкви, они — в лучшем случае — чужды культурной работе мужчин и не понимают ее значения.

Мужское самолюбие его было задето, слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой, он раздражался, несколько раз удачно высмеивал ее, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нем уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она.

Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен, — он видел ее перед собою другой: она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребенка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его тоже волшебной-сложной душой.

Это возбуждало в нем предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем.

Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но, наконец, он первый подошел к ней.

— Синьорина мой постоянный оппонент, — сказал он, — не находят ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?

Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом: девушка яростно защищала церковь, как место, где замученный человек может отдохнуть душой, где, пред лицом доброй мадонны, — все равны и все равно жалки, несмотря на разность одежды; он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ, и что за спиной мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы.

С того времени эти споры наполнили всю их жизнь, каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем всё более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований.

Для него жизнь — борьба за расширение знаний, борьба за под-

чинение таинственных энергий природы человеческой воле, все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидают свобода и торжество разума — самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник.

Пораженный, он спрашивал:

— Но зачем же вы ходите на мои лекции, чего вы ждете от социализма?

— Да, я знаю, что грешу и противоречу себе! — грустно сознавалась она. — Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей!

Она была не очень красива — тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров; она работала на фабрике шелка, жила со старухой-матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно; любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотой вещей и, глядя на них, говорила:

— Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей и кто-то один имел право пользоваться ими! Красивое — должны видеть все, только тогда оно живет!

Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее, они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери, он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце, и тихая любовь преобразится в страсть; ему казалось, что девушка слушает его речи всё внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И всё пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека — народа, человечества — из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их.

Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и — был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова: пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиной к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его почти с ужасом, сказала:

— Я догадывалась, что это так, я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас, но — боже мой! — что же будет теперь?

— Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы! — воскликнул он.

— Нет, — сказала девушка, опустив голову. — Нет! Нам не надо говорить о любви.

— Почему?

— Ты станешь венчаться в церкви? — тихо спросила она.

— Нет!

— Тогда — прощай!

И она быстро пошла прочь от него.

Он догнал ее, стал уговаривать, она выслушала его молча, не возражая, потом сказала:

— Я, моя мать и отец — все верующие и так умрем. Брак в мэрии — не брак для меня: если от такого брака родятся дети, — я знаю — они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он дает счастье и покой.

Ему стало ясно, что она не скоро уступит, он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись; прощаясь, девушка сказала:

— Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною! Ах, если бы ты уехал отсюда! Я — не могу, я так бедна...

— Я не дам никаких обещаний, — ответил он.

И началась борьба сильных людей: они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде, встречались, потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и всё разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски, после каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным, она — в слезах шла исповедываться, а он знал это, и ему казалось, что черная стена людей в тонзурах становится всё крепче, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их на смерть.

Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей — не угрожая, а просто думая вслух:

— Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя...

Она промолчала.

— Ты слышала, что я сказал?

Ласково взглянув в лицо ему, она ответила:

— Да.

И он понял, что она умрет, но не уступит ему. До этого «да» он порою

обнимал и целовал ее, она боролась с ним, но сопротивление ее слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда ее инстинкт женщины поможет ему победить ее. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину.

Так ходил он с нею в темном круге ее представлений о жизни, зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но — как слепая — она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему.

Однажды она сказала:

— Я понимаю иногда, что всё, что ты говоришь — возможно, но я думаю это потому, что я люблю тебя! Я понимаю, но — не верю, не могу! И когда ты уходишь, всё твое уходит с тобой.

Это продолжалось почти два года, и вот девушка заболела; он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около ее квартиры или сидел у постели ее, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днем всё прозрачнее, и как всё ярче пылает в глазах ее огонь болезни.

— Говори мне о будущем, — просила она его.

Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя всё, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как темные, грязные, изношенные лохмотья.

Она слушала и, когда ей было нестерпимо больно, останавливала речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему.

— Я — умираю? — спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у нее скоротечная чахотка и положение ее безнадежно.

Он не ответил ей, опустив глаза.

— Я знаю, что скоро умру, — сказала она. — Дай мне руку.

И когда он протянул руку ей, она, поцеловав ее горячими губами, сказала:

— Прости меня, я виновата перед тобой, я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера — только страх пред тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена. У меня свой — или твой — ум, но чужое сердце... ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой...

Через несколько дней она умерла, а он поседел за время агонии ее, — поседел в двадцать семь лет.

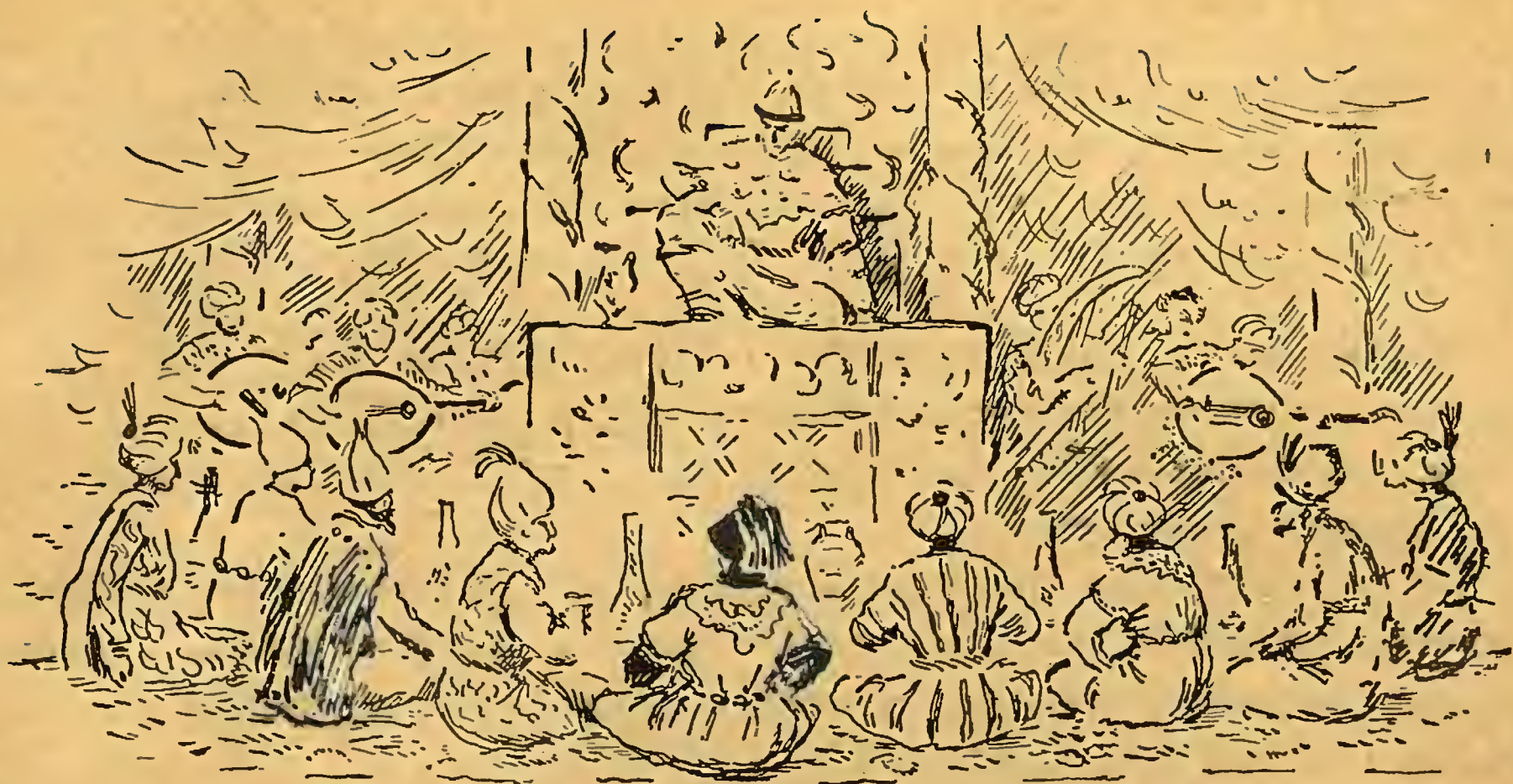
Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его уче-

нице; это они идут на кладбище, к той, — они каждое воскресенье ходят туда, положить цветы на могилу ее.

Он не верит в свою победу, убежден, что, говоря ему — ты прав! — она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же; оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжелая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придает их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер».

... Льетса под солнцем живая, празднично-пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются; не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжато темной скорбью, много умов истерзаны противоречиями, но — все мы идем к свободе, к свободе!

И чем дружнее — всё быстрее пойдем!



МАТЬ

Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге, хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани — счастливом завоевателе, о Тамерлане, как назвали его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.¹

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона — муравейники; красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов, он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек — он хотел отнять у нее все жертвы — да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встре-

¹ Тимур (1336—1405) — завоеватель Средней Азии, Индии и Персии. Славился своею жестокостью. В 1402 году одержал блестящую победу над турецким султаном Баязетом и взял его в плен. Тимур был хром, отсюда его прозвища: Хромой-Тимур-ленг, Тамерлан.

тил победителя злых Джеттов одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре, где она поборолла его, — тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся, — так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания — тридцать лет!

Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было: пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда называли «Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они — как тюльпаны, и над каждой — сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в середине их — палатка Гуругана-Тимура — как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копья в высоту, ее середина — на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении — пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осыпают зерна жемчуга — не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной, седой голове — белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается — сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого — как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всё, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя — серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле — на коврах, каких больше нет — триста золотых кувшинов с вином и всё, что надо для пира царей; позади Тимура сидят музыканты, рядом с ним — никого, у ног его — его кровные, цари и князья.

и начальники войск, а ближе всех к нему — пьяный Кермани-поэт,¹ тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

— Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продали? — ответил сеятелю смерти и ужаса:

— Двадцать пять аскеров.

— Но ведь это цена только моего пояса! — вскричал удивленный Тимур.

— Я и думаю только о поясе, — ответил Кермани, — только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот, как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура!

Прославим поэтов, у которых один бог — красиво сказанное, страшное слово правды, вот кто бог для них — навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силами, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать фехтовали воины, и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних — ужасными и смешными — других, — в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса — в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета-султана долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук знакомый и родственный его оскорбленной душе — оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует — она требует! — видеть его, повелителя трех стран света.

— Приведите ее! — сказал царь.

И вот, пред ним женщина — босая, в лохмотках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее как бронза, а глаза — повелительны, и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

¹ Кермани — историческое лицо, поэт при дворе Тимура. Анекдот о Кермани взят Горьким из книги: Вамбери, История Бохары или Трансаксонии с древних времен до настоящего, т. I. Пб., 1873.

— Это ты победил султана Баязета? — спросила она.

— Да, я. Я победил многих и его, и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

— Слушай! — сказала она. — Что бы ты ни сделал, ты — только человек, а я — Мать! Ты служишь смерти, я — жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтобы ты искупил свою вину, — мне говорили, что девиз твой — «сила в справедливости», — я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я — Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их, — он сказал:

— Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села — как нашла удобным — в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

— Я — из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь, где! Мой отец — рыбак, мой муж — тоже, он был красив, как счастливый человек — это я поила его счастьем! И еще был у меня сын — самый прекрасный мальчик на земле...

— Как мой Джигангир, — тихо сказал старый воин.

— Самый красивый и умный мальчик — это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарадины-пираты, они убили отца моего, мужа, и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты — победил Баязета и отнял у него всё, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари — они всегда считают себя мудрыми:

— Она — безумна! — сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением — Тамерлан.

— Она безумна — как Мать! — тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь — враг мира — сказал:

— Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди — которые часто злее злейших зверей — не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать всё это, чтобы



поверить тебе и чтобы удивление пред тобой не мешало мне понять тебя!

Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери, — вот что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

— Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое — дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? Я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

— Гора становится долиной, когда любишь!

— Были леса по дороге, да, это — было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я — Мать, и уходили, вздыхая, — им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

— Так, женщина! — сказал Тимур. — И часто — я знаю — они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

— Люди, — продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать — сто раз дитя в душе своей, — люди — это всегда дети своих матерей, — сказала она, — ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик — ты знаешь это — родила женщина, — ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

— Так, женщина! — воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. — Так, — от сборища быков — телят не будет, без солнца — не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери — нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

— Отдай мне моего ребенка, потому что я — Мать и люблю его!

Поклонимся женщине — она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но — как сказал Шерифэддин¹ — он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

¹ Ш е р и ф э д д и н — современник Тимура, написавший историю его жизни и завоеваний.

Поклонимся Той, которая неумоимо родит нам великих! Аристотель сын ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер¹ — это всё Ее дети, все они пили Ее молоко и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана, — вся гордость мира — от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган и долго молчал, а потом сказал ко всем:

— Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — жил я, уже много лет земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой, — для того уничтожаю, чтобы отомстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но — никто, никогда за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я — кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «о, Баязет, как видно — пред богом ничто государства и люди, смотри — он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты — кривой, я — хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастии, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалин!

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а — требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина — она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее — искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми, и герои — слабыми? О, Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе суждено было согреть землю, засеять ее счастьем — я хорошо полил ее кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал, наконец:

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей и пусть найдут они сына этой

¹ А р и с т о т е л ь — греческий ученый и мыслитель. Ф и р д у с и (Фирдоуси) — знаменитый персидский поэт X века. С а а д и — персидский поэт XIII века. О м а р Х а й я м — персидский поэт XII века. И с к а н д е р — прозвище знаменитого полководца Александра Македонского (356—323 до нашей эры). Г о м е р — древнегреческий поэт, автор поэм „Илиада“ и „Одиссея“.

женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею; тот же, кто воротится с ребенком на седле своего коня, он будет счастлив — говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

— Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

— Что прекрасней песен о цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет: песни о любви!
Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?
И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звезды в небе полуночи — знаю!
И прекрасно солнце в ясный полдень лета — знаю!
Очи моей милой всех цветов прекрасней — знаю!
И ее улыбка ласковее солнца — знаю!

Но еще не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

— Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтобы возвещать его мудрость!

— Э! Бог сам — хороший поэт! — молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, военачальники и все другие дети, глядя на нее — Мать!

Всё это — правда; все слова здесь — истина, об этом знают наши матери, спросите их, и они скажут:

— Да, всё это вечная правда, мы — сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем всё, чем он славен!



УРОД

Знойный день, тишина; жизнь застыла в светлом покое, небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце — огненный зрачок его.

Море гладко выковано из синего металла, пестрые лодки рыбаков неподвижны, точно впаяны в полукруг залива, яркий как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями — вода покажет другую птицу, белее и красивее той, что в воздухе.

Мреет даль; там в тумане тихо плывет — или, раскален солнцем, тает — лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива.

Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю, весь он кудрявый и пышный в темной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фиг, весь в тусклом серебре листвы олив. Сквозь поток зелени, круто падающей в море, приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а желтые и оранжевые плоды напоминают о звездах в безлунную жаркую ночь, когда небо темно, воздух влажен.

В небе, море и душе — тишина, хочется слышать, как всё живое безмолвно поет молитву богу-Солнцу.

Между садов вьется тропа, и по ней, тихо спускаясь с камня на камень, идет к морю высокая женщина в черном платье; оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплаты. Голова ее не покрыта — блестит серебро седых волос, мелкими кольцами они

осыпают ее высокий лоб, виски и темную кожу щек; эти волосы, должно быть, невозможно причесать гладко.

Лицо у нее резкое, суровое, увидев однажды — его запомнишь навсегда: есть что-то глубоко древнее в этом сухом лице, а если встретишь прямой и темный взгляд ее глаз — невольно вспоминаются знойные пустыни востока, Дебора и Юдифь.¹

Наклонив голову, она вяжет что-то красное; сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красная нить исходит из груди этой женщины. Тропинка крута и капризна, слышно, как шуршат, осыпаясь, камни, но эта седая спускается так уверенно, как будто ноги ее видят путь.

Вот что рассказывают про этого человека: она вдова, муж ее, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу и не вернулся, оставив ее с ребенком под сердцем.

Когда ребенок родился, она стала прятать его от людей, не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери, держала его в темном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложен новорожденный — видел только его большую голову и огромные, неподвижные глаза на желтом лице. Заметили также, что она, здоровая и ловкая, боролась раньше с нуждою неутомимо, весело, умея внушить бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чем-то думала, хмурясь и глядя на всё сквозь туман печали, странным взглядом, который как будто спрашивал о чем-то.

Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали ее горе: ребенок родился уродом, вот почему она прятала его, вот что угнетало ее.

Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они понимают, как стыдно женщине быть матерью уродца; никому — кроме мадонны — неизвестно, справедливо ли наказана она этой жестокой обидой, однако, ребенок не виноват ни в чем, и она напрасно лишает его солнца.

Она послушала людей и показала им сына — руки и ноги у него были короткие, как плавники рыбы, голова, раздутая в огромный шар, едва держалась на тонкой, дряблой шее, а лицо — точно у старика, всё в мор-

¹ Дебора — по библейским сказаниям, пророчица, исполнявшая роль судьи. Юдифь — по библейским сказаниям, женщина-патриотка, отрубившая голову врагу еврейского народа Олоферну.

щинах, на нем пара мутных глаз и большой рот, растянутый в мертвую улыбку.

Женщины плакали, глядя на него, мужчины, брезгливо сморщив лица, угрюмо ушли; мать урод сидела на земле, то пряча голову, то поднимая ее и глядя на всех так, точно без слов спрашивала о чем-то, чего никто не понимал.

Соседи сделали для уроды ящик — вроде гроба — набили его оческами шерсти и тряпьем, посадили уродца в это мягкое, жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе, тайно надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, свершится и еще одно чудо.

Но время шло, а он оставался всё таким же: огромная голова, длинное туловище с четырьмя бессильными придатками; только улыбка его принимала всё более определенное выражение ненасытной жадности, да рот наполнялся двумя рядами острых, кривых зубов. Коротенькие лапы научились хватать куски хлеба и почти безошибочно тащили их в большой, горячий рот.

Он был нем, но когда где-нибудь близко от него ели и урод слышал запах пищи, он глухо мычал, открыв пасть и качая тяжелой головой, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок.

Ел он много и чем дальше — всё больше, мычание его становилось непрерывным; мать, не опуская рук, работала, но часто заработок ее был ничтожен, а иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно — всегда молча — принимала помощь соседей, но когда ее не было дома, соседи, раздражаемые мычанием, забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба, овощи, фрукты — всё, что можно было есть.

— Скоро он тебя всю обгложет! — говорили ей. — Почему ты не отдашь его куда-нибудь в приют, в больницу?

Она угрюмо отвечала:

— Я родила его, я и должна его кормить.

Была она красива, и не один мужчина искал ее любви, все — безуспешно, а одному, который нравился ей больше других, она сказала:

— Я не могу быть твоей женой, боюсь родить еще уроды, это было бы стыдно тебе. Нет, уйди!

Человек уговаривал ее, напоминал ей о мадонне, которая справедлива к матерям и считает их сестрами своими — мать уроды ответила ему:

— Я не знаю, в чем виновата, но — вот, наказана жестоко.

Он умолял, плакал и бесился, тогда она сказала:

— Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди!

Он ушел куда-то далеко, навсегда.

И так много лет набивала она бездонную, неустанно жевавшую пасть, он пожирал плоды ее трудов, ее кровь и жизнь, голова его росла и становилась всё более страшной, похожая на шар, готовый оторваться от бес- сильной, тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачи- ваясь с боку на бок.

Всякий, кто заглядывал во двор, невольно останавливался, поражен- ный, содрогаясь, не умея понять — что он видит? У стены, заросшей виноградом, на камнях, как на жертвеннике, стоял ящик, а из него под- нималась эта голова, и, четко выступая на фоне зелени, притягивало к себе взгляд прохожего желтое, покрытое морщинами, скуластое лицо, тарасились, вылезая из орбит и надолго вклеиваясь в память всякого, кто их видел, тупые глаза, вздрагивал широкий, приплюснутый нос, двигались непомерно развитые скулы и челюсти, шевелились дряблые губы, открывая два ряда хищных зубов, и, как бы живя своей отдельной жизнью, торчали большие, чуткие, звериные уши — эту страшную маску прикрывала шапка черных волос, завитых в мелкие кольца, точно волосы негра.

Держа в руке, короткой и маленькой как лапа ящерицы, кусок чего- нибудь съедобного, урод наклонял голову движениями клюющей птицы и, отрывая зубами пищу, громко чавкал, сопел. Сытый, глядя на людей, он всегда оскаливал зубы, а глаза его сдвигались к переносью, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумертвом лице, движения кото- рого напоминали агонию. Если же он был голоден, то вытягивал шею вперед и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требо- вательно мычал.

Крестясь и творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая всё дур- ное, что пережито ими, все несчастья, испытанные в жизни.

Старик кузнец, человек мрачного ума, не однажды говорил:

— Когда я вижу этот всё пожирающий рот, я думаю, что мою силу пожрал кто-то, подобный ему, мне кажется, что все мы живем и умираем для паразитов!

У всех эта немая голова вызывала мысли печальные, чувства, пугаю- щие сердце.

Мать уroda молчала, прислушиваясь к словам людей, волосы ее быстро седали, морщины являлись на лице, она давно уже разучилась смеяться. Люди знали, что ночами она неподвижно стоит у двери, смот- рит в небо и точно ждет кого-то; они говорили друг другу:

— Чего ей ждать?

— Посади его на площадь у старой церкви! — советовали ей соседи. — Там ходят иностранцы, они не откажутся бросить ему несколько медных монет каждый день.

Мать испуганно вздрогнула, говоря:

— Это будет ужасно, если его увидят люди иных стран — что они подумают о нас?

Ей ответили:

— Бедность — везде, все знают об этом!

Она отрицательно покачала головою.

Но иностранцы, гонимые скукой, шатались повсюду, заглядывали во все дворы и, конечно, заглянули и к ней: она была дома, она видела гримасы брезгливости и отвращения на сытых лицах этих праздных людей, слышала, как они говорили о ее сыне, кривя губы и прищурив глаза. Особенно ударили ее в сердце несколько слов, сказанных презрительно, враждебно, с явным торжеством.

Она запомнила эти звуки, много раз повторив про себя чужие слова, в которых ее сердце итальянки и матери чувствовало оскорбительный смысл; в тот же день она пошла к знакомому комиссионеру и спросила его — что значат эти слова?

— Смотря по тому, кто их сказал! — ответил он, нахмурясь. — Они значат: Италия вымирает впереди всех романских рас. Где ты слышала эту ложь?

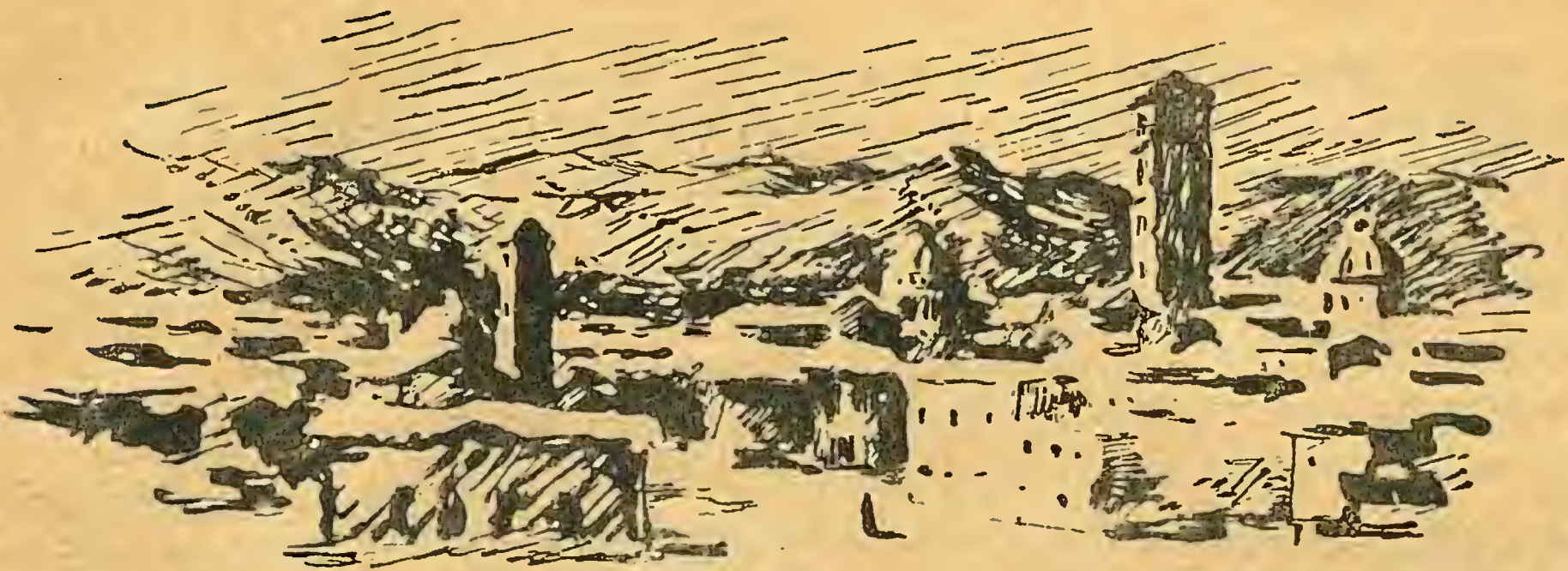
Она, не ответив, ушла.

А на другой день ее сын объелся чем-то и умер в судорогах.

Она сидела на дворе около ящика, положив ладонь на мертвую голову своего сына, спокойно ожидая чего-то, вопросительно глядя в глаза каждого, кто приходил к ней, чтобы посмотреть на умершего.

Все молчали, никто ни о чем не спрашивал ее, хотя, быть может, многим хотелось поздравить ее — она освободилась от рабства, сказать ей утешительное слово — она потеряла сына, но — все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всем можно говорить до конца.

После этого она еще долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чем-то, а потом стала такою же простою, как все.



МАТЬ ИЗМЕННИКА

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе — а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубали сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкетеры врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных

гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидев ее, спрашивали друг друга:

— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямилась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали это сердце с древними камнями, из которых ее предки построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей — теряло это сердце ближайшего ему человека и плакало: было оно, как весы, но, взвешивая в нем любовь к сыну и городу, она не могла понять — что легче, что тяжелей?

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая — молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидела

другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые, и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, — а этот — сегодня.

И поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю ее!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал!

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за грехи сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она. — Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая

ногою поломанное оружие — матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась всё меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подошли и спросили — кто она, куда идет?

— Ваш предводитель — мой сын, — сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась — ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, — в шелке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё — так, как должно быть, именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя ее руки. — Ты пришла ко мне, значит — ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился, — напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком, — сказала она.

— Камни — немые, если человек не заставит их говорить, — пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О, да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...



— Нет! — возразил он. — Разрушающий так же славен, как и тот, кто создает города. Посмотри — мы не знаем, Эней¹ или Ромул построили Рим, но — точно известно имя Алариха² и других героев, разрушавших этот город...

— Который пережил все имена, — напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца; она всё реже перебивала его безумные речи, и всё ниже опускалась ее гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении — значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям, — ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и точно погребальные свечи зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шопота людей, ожидающих смерти, — она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и точно крылатые кони летели на город, обреченный смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него еще ночью, — говорил ее сын, — если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при этом много неверных ударов, — говорил он, рассматривая свой меч.

¹ Эней — герой Троянской войны, положивший, по преданию, начало римскому государству.

² Аларих — король вестготов, в 410 году захвативший и ограбивший Рим.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя — за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины? — спросила она, наклонясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как всё слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отомстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния, — сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок.

Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины всё, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его — ее крови — она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, — если оно болит, в него легко попасть.



ЗАПОВЕДЬ РЫБАКА

Звенят цикады.

Словно тысячи металлических струн протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это — еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и всё время напряженно ждешь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю.

Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна; море — всё в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и звенят чуть слышно. И словно увлекая их за собою, на горизонте качаются, высоко подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам; всё это — напоминая давний, полузабытый сон — не похоже на жизнь.

— К ночи разыграется крепкий ветер! — говорит старый рыбак, сидя в тени камней, на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой.

Прибой набросал на камни волокна пахучей морской травы — рыжей,

золотистой и зеленой; трава вянет на солнце и горячих камнях, соленый воздух насыщен терпким запахом иода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны.

Старый рыбак похож на птицу — маленькое стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных складках кожи, круглые — должно быть, очень зоркие — глаза. Пальцы рук крючковаты, мало подвижны и сухи.

— Полсотни лет тому назад, синьор, — говорит старик, в тон шороху волн и звону цикад, — был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда всё смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне — шестнадцать, и я был влюблен, это — неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце.

— Поедем, Гвидо, за пеццони, — сказал отец; пеццони, синьор, очень тонкая и вкусная рыба с розовыми плавниками, ее называют также коралловой рыбой, потому что она водится там, где есть кораллы, очень глубоко. Ее ловят, стоя на якоре, крючком с тяжелым грузилом. Красивая рыба.

И мы поехали, ничего не ожидая, кроме хорошей удачи. Мой отец был сильный человек, опытный рыбак, но незадолго перед этим он хворал — болела грудь, и пальцы рук у него были испорчены ревматизмом — болезнь рыбаков.

Это очень хитрый и злой ветер, вот этот, который так ласково дует на нас с берега, точно тихонько толкая в море, — там он подходит к вам незаметно и вдруг бросается на вас, точно вы оскорбили его. Барка тотчас сорвана и летит по ветру, иногда вверх килем, а вы — в воде. Это случается в одну минуту, вы не успеете выругаться или помянуть имя божие, как вас уже кружит, гонит в даль. Разбойник честнее этого ветра. Впрочем — люди всегда честнее стихии.

Да, так вот этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега — совсем близко, как видите, ударил неожиданно, как трус и подлец.

— Гвидо! — сказал родитель, хватая весла изуродованными руками. — Держись, Гвидо! Живо — якорь!

Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь — вырвало весла из рук у него — он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему, каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала — всё делается быстро: когда я сел на весла — мы уже неслись куда-то, окруженные водной пылью, ветер срывал вершушки волн и кропил нас, точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи.

— Это серьезно, сын мой! — сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега. — Это — надолго, дорогой мой.

Если молод — не легко веришь в опасность; я пытался грести, делал всё, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер — дыхание злых дьяволов — любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поет реквием.

— Сиди смирно, Гвидо, — сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы. — Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома.

Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как дети мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, трясут, мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты — а берег убегает от нас все дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне:

— Ты, может быть, вернешься на землю, я — нет! Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе...

И он стал рассказывать мне всё, что знал о привычках тех и других рыб — где, когда и как успешнее ловить их.

— Может быть, нам лучше помолиться, отец? — предложил я, когда понял, что дела наши плохи: мы были точно пара кроликов в стае белых псов, отовсюду скаливших зубы на нас.

— Бог видит всё! — сказал он. — Ему известно, что, вот, люди, созданные для земли, погибают в море и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он знает. Работа нужна земле и людям — бог понимает это...

И рассказав мне всё, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми.

— Время ли теперь учить меня? — сказал я. — На земле ты не делал этого!

— На земле я не чувствовал смерти так близко.

Ветер выл, как зверь, и плескали волны — отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал:

— Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже — это будет верно! Дворянин и рыбак, священник и солдат — одно тело, и ты такой же необходимый член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего — думай, что хорошего больше в нем — так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них.

Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете, точно команда: нас бросало с волны на волну, и то снизу, то сверху, сквозь брызги воды я слышал эти слова. Много уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, много я не мог понять — время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью! Мне было страшно, я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать — тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день живо в памяти моего сердца.

Как теперь вижу родителя: он сидит на дне барки, раскинув больные руки, вцепившись в борта пальцами, шляпу смыло с него, волны кидаются на голову и на плечи ему то справа, то слева, бьют сзади и спереди, он встряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а, может быть, от боли. Я думаю — от боли.

— Слушай! — кричал мне. — Эй — слышишь?

Иногда я отвечал ему:

— Слышу!

— Помни — всё хорошее от человека.

— Ладно! — отвечаю я.

Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый, но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня — юность самолюбива.

Его крики укрощали мой страх, должно быть поэтому я так хорошо всё помню.

Старик рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув:

— Приглядевшись к людям, я знаю, синьор, помнить — это всё равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего, — уж это так, поверьте!

Да, так вот — помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза: смотрели они на меня серьезно, с любовью, и так, что я знал тогда — мне суждено погибнуть не в этот день. Боялся, но знал, что не погибну.

Нас, конечно, опрокинуло. Вот — мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас, волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам всё, что можно было привязать, у нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока есть сила, но — держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кру-

жится голова, глохнешь и слепнешь — глаза и уши залиты водой. и очень много глотаешь ее.

Это тянулось долго — часов семь, потом ветер сразу переменялся, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тут я обрадовался, закричал:

— Держись!

Отец тоже кричал что-то, я понял одно слово:

— Разобьет...

Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело, — мы неслись среди гор воды, присосавшись, точно улитки, к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега — всё пошло с невыразимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши — раз, раз, — подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога, я оторван от нее, вижу изломанные черные ребра скал, острые, как ножи, вижу голову отца высоко надо мною, потом — над этими когтями дьяволов. Его поймали часа через два, с переломанной спиной и разбитым, до мозга, черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыло из нее, но я помню серые, с красными жилками, кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изуродован был он ужасно, весь изломан, но лицо — чисто, спокойно, и глаза хорошо, плотно закрыты.

— Я? Да, я тоже был порядочно измят, на берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку, за Амальфи — чужое место, но, конечно, свои люди — тоже рыбаки, такие случаи их не удивляют, но делают добрыми: люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры!

— Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую, и то, что пятьдесят один год держу в сердце — это требует особенных слов, даже, может быть, песни, но — мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы! Чувствуешь и знаешь всегда больше, чем можешь сказать.

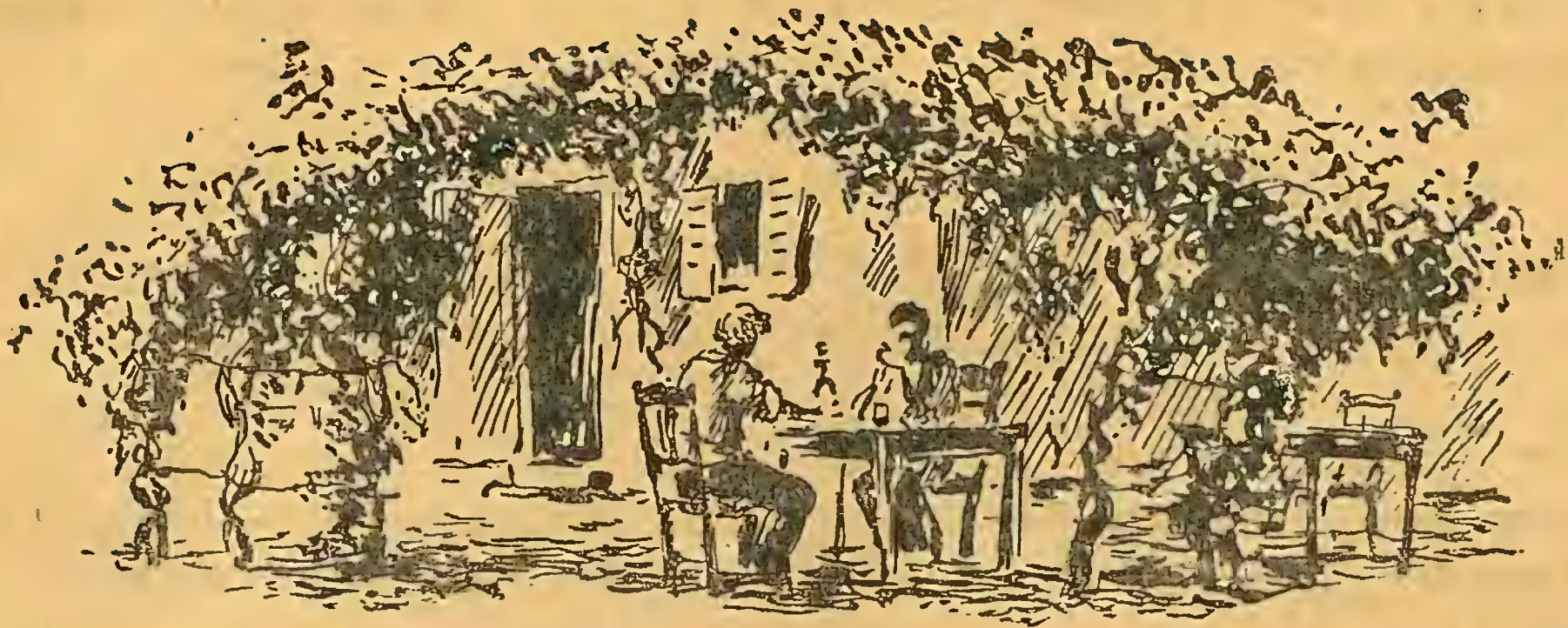
— Тут всё дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне всё, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я и могу сказать, что всё, что он внушил мне, — верно!

Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь бурый, достал из него трубку и, наклонив голый, бронзовый череп, сильно сказал:

— Всё верно, дорогой синьор! Люди таковы, какими вы хотите видеть их, смотрите на них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им — тоже, от этого они станут еще лучше, вы — тоже! Это — просто!

Ветер становился всё крепче, волны выше, острее и белей; выросли птицы на море, они всё торопливее плывут в даль, а два корабля с трехъярусными парусами уже исчезли за синей полосой горизонта.

Крутые берега острова в пене волн, буяня плещет синяя вода, и не-утомимо, страстно звенят цикады.



КАК ДЖИОВАННИ СТАЛ СОЦИАЛИСТОМ

У двери белой кантины, спрятанной среди толстых лоз старого виноградника, под тенью навеса из этих же лоз, переплетенных вьюнком и мелкой китайской розой, сидят у стола, за графином вина, Винченцо, маляр, и Джированни, слесарь. Маляр — маленький, костлявый, черный; в его темных глазах светится задумчивая мягкая улыбка мечтателя; хотя его верхняя губа и щеки выбриты до-синя — лицо, от этой улыбки, кажется детским и наивным. У него маленький, красивый рот, точно у девушки, кисти рук — длинные, он вертит в живых пальцах золотой цветок розы и, прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза.

— Может быть — я не знаю — может быть! — тихо говорит он, покачивая сжатой с висков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб.

— Да, да! Чем дальше на север, тем настойчивее люди! — утверждает Джированни, большеголовый, широкоплечий парень, в черных кудрях; лицо у него медно-красное, нос обожжен солнцем и покрыт белой чешуей омертвевшей кожи; глаза — большие, добрые, как у вола, и на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленна, как движения рук, пропитанных маслом и железной пылью. Сжимая стакан вина в темных пальцах, с обломанными ногтями, он продолжает басом:

— Милан, Турин — вот превосходные мастерские, где формируются новые люди, растет новый мозг! Подожди немного — земля станет честной и умной!

— Да! — сказал маленький маляр, подняв стакан, и, ловя вином солнечный луч, напевает:

— О, как тепла земля на утре наших дней!
Но — возмужали мы — и холодно на ней!

— Чем дальше на север, говорю я, тем лучше работа. Уже французы живут не так лениво, как мы, дальше — немцы и, наконец, русские — вот люди!

— Да!

— Бесправные, под страхом лишиться свободы и жизни, они сделали грандиозное дело — ведь это благодаря им вспыхнул к жизни весь восток!¹

— Страна героев! — склоняя голову, сказал маляр. — Я бы хотел жить с ними...

— Ты? — воскликнул слесарь, ударив по своему колену ребром ладони. — Кусочком льда был бы ты там через неделю!

Оба добродушно засмеялись.

Синие и золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, в прозрачном стекле графина и стаканов горит альмандиновое вино, издали доплывает шелковый шорох моря.

— Вот, добрый мой Винченцо, — говорит слесарь, широко улыбаясь, — расскажи стихами, как я стал социалистом, — ты знаешь это?

— Нет, — сказал маляр, наливая в стаканы вино и улыбаясь красной струе, — ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал — ты родился в ней!

— Я родился голым и глупым, как ты и все люди; в юности я мечтал о богатой жене, в солдатах — учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин, мне было двадцать три года, когда я почувствовал, что не всё на свете хорошо и жить дураком — стыдно!

Маляр облокотился на стол, а голову вскинул вверх и стал смотреть на гору, где на самом обрыве стоят, качая ветвями, огромные сосны.

— Нас — мою роту — послали в Болонью; там волновались крестьяне, одни — требуя понижения арендной платы, другие — кричали о необходимости повысить заработную плату, те и другие казались мне несправедливыми: понизить аренду за землю, поднять рабочую плату — что за глупости! — думал я, — ведь это разорит землевладельцев... Мне, жителю города, это казалось вздором и бессмыслицей. И я очень сердился, чему

¹ Итальянцы говорят о революции 1905 г.

помогала жара, постоянные передвижения с места на место, караульная служба по ночам — эти молодцы, видишь ли, ломали машины помещиков, а также им нравилось жечь хлеб и портить всё, принадлежавшее не им.

Он выпил вино маленькими глотками и, оживляясь всё более, продолжал:

— Они ходили по полям густыми толпами, точно овцы, но — молча, грозно, деловито, мы разгоняли их, показывая штыки, иногда — толкая прикладами, они, не пугаясь и не торопясь, разбегались, собирались снова. Это было скучно, как обедня, и тянулось изо дня в день, точно лихорадка. Луото, наш унтер, славный парень, абруцезец, тоже крестьянин, мучился: пожелтел, похудел и не однажды говорил нам:

— Очень скверно, дети мои! Вероятно, придется стрелять, будь я проклят!

— Его карканье еще больше расстраивало нас, а тут, знаешь, из-за каждого угла, холма и дерева торчат упрямые головы крестьян, щупают тебя их сердитые глаза, — люди эти относились к нам, конечно, не очень приветливо.

— Пей! — сказал маленький Винченцо, ласково подвигая приятелю полный стакан.

— Благодарю и — да здравствуют стойкие люди! — воскликнул слесарь, выпил, вытер ладонью усы и продолжал:

— Однажды я стоял на небольшом холме, у рощи олив, охраняя деревья, потому что крестьяне портили их, а под холмом работали двое — старик и юноша, рыли какую-то канаву. Жарко, солнце печет как огнем, хочется быть рыбой, скучно, и, помню, я смотрел на этих людей очень сердито. В полдень они, бросив работу, достали хлеб, сыр, кувшин вина, — чорт бы вас побрал, думаю я. Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня до этой поры, что-то сказал юноше, тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул:

— Иди! — Очень строго крикнул.

— Юноша идет ко мне с кувшином в руке, подошел и говорит так, знаешь, не очень охотно:

— Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина!

— Было неловко, но — приятно, я отказался, кивнув старику головой и благодаря его, а он отвечает мне, поглядывая в небо:

— Выпейте, синьор, выпейте! Мы предлагаем это человеку, а не солдату, мы не надеемся, что солдат будет добрее от нашего вина.

— Не кусайся, чорт тебя побери! — подумал я и, выпив глотка три,

поблагодарил, а они, там, внизу, начали есть; потом скоро я сменился — на мое место встал Уго, салертинец, и я сказал ему тихонько, что эти двое крестьян — добрые люди. В тот же день вечером, когда я стоял у дверей сарая, где хранились машины, с крыши, на голову мне, упала черепица — по голове ударило не сильно, но другая очень крепко — ребром по плечу, так, что левая рука у меня повисла.

Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищулив глаза.

— Черепицы, камни, палки, — говорил он сквозь смех, — в те дни и в том месте действовали самостоятельно, и эта самостоятельность неодушевленных предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идет или стоит солдат — вдруг с земли прыгает на него палка, с небес падает камень. Мы сердились, конечно!

Глаза маленького маляра стали грустны, лицо побледнело, и он сказал тихонько:

— Всегда стыдно слушать о таких вещах...

— Что поделаешь! Люди медленно умнеют. Далее: я позвал на помощь, меня отвели в дом, где уже лежал один, раненный камнем в лицо, и когда я спросил его — как это случилось с ним, он сказал, невесело посмеиваясь:

— Старуха, товарищ, старая седая ведьма ударила и предлагает — убить ее!

— Арестовали?

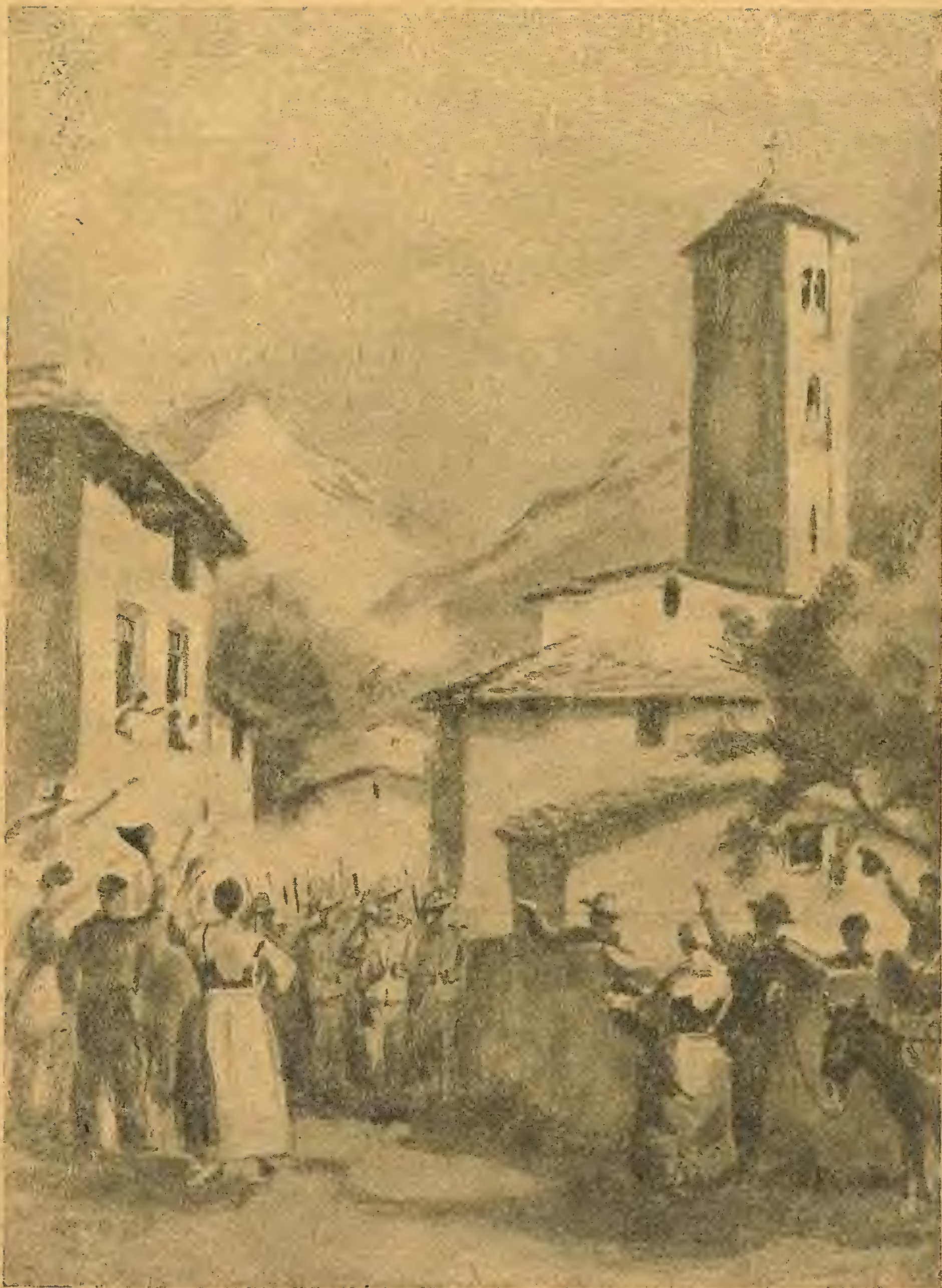
— Я сказал, что это сам я — упал и ударился. Командир не поверил, это было видно по его глазам. Но, согласись, неловко сознаться, что ранен старухой! Дьявол! Им туго приходится, и понятно, что они не любят нас.

— Так! — думаю я. Приходит доктор и две дамы — одна очень красивая, блондинка, очевидно — венецианка, другая — не помню ее. Осматривают мой ушиб, конечно — пустяки, положили мне компресс и ушли.

Слесарь нахмурился, замолчал и крепко потер руки; его товарищ снова налил вина в стаканы, — наливая, он высоко поднимал графин, и вино трепетало в воздухе красной живой струей.

— Мы оба сели у окна, — угрюмо продолжал слесарь, — сели так, чтобы нас не видело солнце, и вот слышим нежный голосок блондинки этой — она с подругой и доктором идет по саду, за окном, и говорит на французском языке, который я хорошо понимаю.

— Вы заметили, какие у него глаза? — говорит она. — Он, разумеется, тоже крестьянин и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом,



как все у нас. И вот, люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить всю жизнь, изгнать нас, уничтожить, всё для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость!

— Глупые ребята, — сказал доктор, — полу-дети, полу-звери!

— Звери — да! Но — что в них детского?

— А эти мечты о всеобщем равенстве...

— Вы подумайте, — я равна этому парню, с глазами вола, и другому, с птичьим лицом, мы все — вы, я и она — мы равны им, этим людям дурной крови! Людям, которых можно приглашать для того, чтобы они били подобных им, таких же зверей, как они...

Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал:

— Так, синьора! Я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат. Разумеется, я представлял ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяне — особенно умны.

Спрашиваю товарища:

— Ты понимаешь этот язык?

Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки — парень рассердился, как чорт, и запрыгал по комнате, сверкая глазом — один глаз у него был завязан.

— Вот как! — бормочет он. — Вот как! Она пользуется мной и — не считает меня человеком! Я, ради нее, позволяю оскорблять мое достоинство, и она же отрицает его! Ради сохранности ее имущества я рискую погубить душу...

— Он был неглупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным, я — тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Луто только мычал и советовал нам:

— Осторожнее, дети мои! Не забывайте, что вы — солдаты, и существует дисциплина!

— Нет, мы это не забыли. Но очень многие — почти все, говоря правду — стали глухи и слепы, а эти молодцы крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они — выиграли. Они очень хорошо относились к нам; блондинке можно бы многому поучиться у них, например — они прекрасно научили бы ее, как надо ценить честных людей. Когда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получили цветы. Когда мы шли по улицам деревни — в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, друг мой!

Я думаю, что мы заслужили это. О дурной встрече можно забыть, получив хорошие проводы!

Он засмеялся, потом сказал:

— Вот это ты должен превратить в стихи, Винченцо. . .

Маляр, задумчиво улыбаясь, ответил:

— Да, это очень годится для поэмы! Я думаю, что сумею сделать ее. Когда человеку минет двадцать пять лет — он становится плохим лириком.

Он отбросил цветок, уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая:

— Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью. . .

Слесарь молчал, колыхая вино в стакане. Мягко шумит море, там, внизу, за виноградниками, запах цветов плывет в жарком воздухе.

— Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими, — бормотал слесарь.

— Мне уже плохо удаются лирические стихи, я очень недоволен собою, — тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови.

— Ты сделал что-нибудь?

Маляр не сразу говорит:

— Да, вчера, на крыше отеля «Комо».

И читает вполголоса, задумчиво, певуче:

— На берег пустынный, на старые серые камни
Осеннее солнце прощально и нежно упало.
На темные камни бросаются жадные волны
И солнце смывают в холодное синее море.
И медные листья деревьев, оборваны ветром осенним,
Мелькают сквозь пену прибоя, как пестрые мертвые птицы,
А бледное небо — печально, и гневное море — угрюмо.
Одно только солнце смеется, склоняясь покорно к закату.

Оба долго молчат; маляр, опустив голову, смотрит в землю, большой, тяжёлый слесарь улыбается и, наконец, говорит:

— Обо всем можно сказать красиво, но лучше всего — слово о хорошем человеке, песня о хороших людях!



БЕСЕДА

... За железный столик у двери ресторана сел человек в светлом костюме, сухой и бритый, точно американец, сел и лениво поет:

— Га-арсон-н...

Всё вокруг густо усеяно цветами акации — белыми и точно золото: всюду блещут лучи солнца, на земле и в небе — тихое веселье весны. Посредине улицы, щелкая копытами, бегут маленькие ослики с мохнатыми ушами, медленно шагают тяжелые лошади, не торопясь идут люди, — ясно видишь, что всему живому хочется как можно дольше побыть на солнце, на воздухе, полном медового запаха цветов.

Мелькают дети — герольды весны, солнце раскрашивает их одежды в яркие цвета; покачиваясь, плывут пестро одетые женщины, — они так же необходимы в солнечный день, как звезды ночью.

Человек в светлом костюме имеет странный вид: кажется, что он был сильно грязен, и только сегодня его вымыли, но так усердно, что уж навсегда стерли с него всё яркое. Он смотрит вокруг полинявшими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всем, что движется по темной дороге, по широким плитам бульвара. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив, длинные пальцы белой руки барабанят по гулкому краю стола — тускло поблескивают ногти, а в другой руке желтая перчатка — он отбивает ею на колене такт. У него лицо человека умного и решительного — так жаль, что оно стерто чем-то грубым, тяжелым.

Почтительно поклонясь, гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зеленого ликера и бисквиты, а за столик рядом — садится широкогрудый человек с агатовыми глазами, — щеки, шея, руки его закопчены дымом, весь он — угловат, металлически крепок, точно часть какой-то большой машины.

Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нем, он, чуть приподнявшись, дотронулся рукою до шляпы и сказал сквозь густые усы:

— Добрый день, господин инженер.

— Ба, снова вы, Трама!

— Да, это я, господин инженер...

— Нужно ждать событий, а?

— Как идет ваша работа?

Инженер сказал, с маленькой усмешкой на тонких губах:

— Мне кажется — нельзя беседовать одними вопросами, мой друг...

А его собеседник, сдвинув шляпу на ухо, открыто и громко смеется и сквозь смех говорит:

— О, да! Но, честное слово, так хочется знать...

Пегий, шершавый ослик, запряженный в тележку с углем, остановился, вытянул шею и — прискорбно закричал, но, должно быть, ему не понравился свой голос в этот день, — сконфуженно оборвав крик на высокой ноте, он встряхнул мохнатыми ушами и, опустив голову, побежал дальше, цокая копытами.

— Я жду вашу машину с таким же нетерпением, как ждал бы новую книгу, которая обещает сделать меня умней...

Инженер сказал, прихлебывая кофе:

— Не совсем понимаю сравнение...

— Разве вы не думаете, что машина так же освобождает физическую энергию человека, как хорошая книга его дух?

— А! — сказал инженер, дернув головою вверх. — Так!

И спросил, ставя на стол пустую чашку:

— Вы, конечно, начнете агитацию?

— Я уже начал...

— Снова — стачки, беспорядки, да?

Тот пожал плечами, мягко улыбаясь.

— Если б можно было без этого...

Старуха в черном платье, суровая, точно монахиня, молча предложила

инженеру букетик фиалок, он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря:

— У вас, Трама, такой хороший мозг и, право, жаль, что вы — идеалист...

— Благодарю за цветы и комплимент. Вы сказали — жаль?

— Да! Вы, в сущности, поэт, и вам надо учиться, чтобы стать дельным инженером...

Трама, тихонько смеясь, обнажая белые зубы, говорил:

— О, это верно! Инженер — поэт, я убедился в этом, работая с вами...

— Вы — любезный человек...

— И я думал — отчего бы господину инженеру не сделаться социалистом? Социалисту тоже надо быть поэтом...

Они засмеялись оба, одинаково умно глядя друг на друга, удивительно разные, один — сухой, нервный, стертый, с выцветшими глазами, другой — точно вчера выкован и еще не отшлифован.

— Нет, Трама, я предпочел бы иметь свою мастерскую и десятка три вот таких молодцов, как вы. Ого, тут мы сделали бы кое-что...

Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы.

— Чорт возьми, — возбуждаясь вскричал Трама, — какие пустяки мешают жить и работать...

— Это вы историю человечества называете пустяками, мастер Трама? — тонко улыбаясь, спросил инженер; рабочий сдернул шляпу, взмахнул ею и заговорил горячо и живо:

— Э, что такое история моих предков?

— Ваших предков? — переспросил инженер, подчеркнув первое слово еще более острой улыбкой.

— Да, моих! Это — дерзость? Пусть будет дерзость! Но — почему Джиордано Бруно, Вико и Мадзини¹ не предки мои — разве я живу не в их мире, разве я не пользуюсь тем, что посеяли вокруг меня их великие умы?

— А, в этом смысле!

— Всё, что дано миру отошедшими из него — дано мне!

¹ Джиордано Бруно (1543—1600) — итальянский мыслитель, борец с религией, был сожжен на костре. Вико (1668—1744) — итальянский философ, историк и юрист. Мадзини (1805—1872) — крупнейший деятель итальянского освободительного движения.

— Конечно, — сказал инженер, серьезно сдвинув брови.

— И всё, что сделано до меня — до нас — руда, которую мы должны сделать сталью, — неправда ли?

— Почему — нет? Это — ясно!

— Ведь и вы, ученые, как мы, рабочие — вы живете за счет работы умов прошлого.

— Я не спорю, — сказал инженер, склоняя голову; около него стоял мальчик в серых лохмотьях, маленький, точно мяч, разбитый игрою; держа в грязных лапах букетик крокусов, он настойчиво говорил:

— Возьмите у меня цветов, синьор...

— Я уже имею...

— Цветов никогда не бывает достаточно...

— Bravo, малыш! — сказал Трама. — Bravo, и мне дай два...

А когда мальчишка дал ему цветы, он, приподняв шляпу, предложил инженеру:

— Угодно?

— Благодарю.

— Чудесный день, неправда ли?

— Это чувствуешь даже в мои пятьдесят лет...

Он задумчиво оглянулся, прищурив глаза, потом — вздохнул.

— Вы, я думаю, должны особенно сильно чувствовать игру весеннего солнца в жилах, это не потому только, что вы молоды, но — как я вижу — весь мир для вас — иной, чем для меня, да?

— Не знаю, — сказал тот, усмехаясь, — но жизнь — прекрасна!

— Своими обещаниями? — скептически спросил инженер, и этот вопрос как бы задел его собеседника, — надев шляпу, он быстро сказал:

— Жизнь прекрасна всем, что мне нравится в ней! Чорт побери, дорогой мой инженер, для меня слова не только звуки и буквы, — когда я читаю книгу, вижу картину, люблюсь прекрасным — я чувствую себя так, как будто сам сделал всё это!

Оба засмеялись, один — громко и открыто, точно хвастаясь своим умением хохотать, откинув голову назад, выпятив широкую грудь, другой — почти беззвучно, всхлипывающим смехом, обнажая зубы, в которых завязло золото, словно он недавно жевал его и забыл почистить зеленоватую кость зубов.

— Вы — бравый парень, Трама, вас всегда приятно видеть, — сказал инженер и, подмигнув, добавил:

— Если только вы не бунтуете...

— О, я всегда бунтую...

И, скорчив серьезную мину, прищулив бездонные черные глаза, он спросил:

— Надеюсь — мы тогда вели себя вполне корректно?

Пожав плечами, инженер встал.

— О, да. Да! Эта история — вы знаете? — стоила предприятию тридцать семь тысяч лир...

— Было бы благоразумнее включить их в заработную плату...

— Гм! Вы — плохо считаете. Благоразумие? Оно свое у каждого зверя.

Он протянул сухую желтую руку и, когда рабочий пожимал ее, сказал:

— Я, все-таки, повторяю, что вам следует учиться и учиться...

— Каждую минуту я учусь...

— Из вас выработался бы инженер с доброй фантазией.

— Э, фантазия не мешает мне жить и теперь!

— До свиданья, упрямец!

Инженер пошел под акациями, сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными, сухими ногами, тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой руки, — маленький, досиня черный гарсон отошел от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты:

— Сильно стареет наш знаменитый...

— Он еще постоит за себя! — уверенно воскликнул рабочий. — У него много огня под черепом...

— Где будете вы говорить в следующий раз?

— Там же, на бирже труда. Вы слышали меня?

— Трижды, товарищ...

Крепко пожав друг другу руки, они с улыбкой расстались; один пошел в сторону, противоположную той, куда скрылся инженер, другой — задумчиво напевая, стал убирать посуду со столов.

Группа школьников в белых передниках — мальчики и девочки — маршируют посредине дороги, от них искрами разлетается шум и смех, передние двое громко трубят в трубы, свернутые из бумаги, акации тихо осыпают их снегом белых лепестков. Всегда — а весною особенно жадно — смотришь на детей, и хочется кричать вслед им, весело и громко:

— Эй, вы, люди! Да здравствует ваше будущее!



ДЖИОВАННИ ТУБА

Старик Джiovанни Туба еще в ранней молодости изменил земле ради моря: — эта синяя гладь, то ласковая и тихая, точно взгляд девушки, то бурная, как сердце женщины, охваченное страстью, эта пустыня, поглощающая солнце, не нужное рыбам, ничего не родя от совокупления с живым золотом лучей, кроме красоты и ослепительного блеска — коварное море, вечно поющее о чем-то, возбуждая необоримое желание плыть в его даль, — многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости — мало!

Еще мальчишкой Туба, работая на винограднике, брошенном уступами по склону горы, укрепленном стенками серого камня, среди лапчатых фиг и олив с их выкованными листьями, в темной зелени апельсинов и запутанных ветвях гранат, на ярком солнце, на горячей земле, в запахе цветов — еще тогда он смотрел, раздувая ноздри, в синее око моря взглядом человека, под ногами которого земля не тверда — качается, тает и плывет — смотрел, вдыхая соленый воздух, и пьянел, становясь рассеянным, ленивым, непослушным, как всегда бывает с тем, кого море очаровало и зовет, с тем, кто влюбился душою в море...

А по праздникам, рано, когда солнце едва поднималось из-за гор над

Сорренто, а небо было розовое, точно соткано из цветов абрикоса, — Туба, лохматый как овчарка, катился под гору, с удочками на плече, прыгая с камня на камень, точно ком упругих мускулов совсем без костей, бежал к морю, улыбаясь ему широким, рыжим от веснушек лицом, а встречу в свежем воздухе утра, заглушая сладкое дыхание проснувшихся цветов, плыл острый аромат, тихий говор волн, — они цеплялись о камни там, внизу, и манили к себе, точно девушки — волны...

Вот он висит на краю розовато-серой скалы, спустив бронзовые ноги; черные, большие как сливы глаза его утонули в прозрачной зеленоватой воде; сквозь ее жидкое стекло они видят удивительный мир, лучший, чем все сказки: видят золотисто-рыжие водоросли на дне морском, среди камней, покрытых коврами; из леса водорослей выплывают разноцветные «виолы» — живые цветы моря; точно пьяный, выходит «перкия», с тупыми глазами, разрисованным носом и голубым пятном на животе, мелькает золотая «сарпа», полосатые, дерзкие «каньи»; снуют, как веселые черти, черные «гваррачины»; как серебряные блюда, блестят «спаральони», «окьяты» и другие красавицы-рыбы — им нет числа! — все они хитрые и, прежде чем схватить червяка на крючке глубоко в круглый рот, ловко ошипывают его маленькими зубами, — умные рыбы!...

Точно птицы в воздухе, плавают в этой светлой, ласковой воде уса-тые креветки, ползают по камню раки-отшельники, таская за собой свой узорный дом-раковину; тихо двигаются алые, точно кровь, звезды, безмолвно качаются колокола лиловых медуз, иногда из-под камня высунется злая голова мурены с острыми зубами, изовьется пестрое змеиное тело, всё в красных пятнах, — она точно ведьма в сказке, но еще страшней и безобразнее ее; вдруг распластается в воде, точно грязная тряпка, серый осьминог и стремительно бросится куда-то хищной птицей; а вот не торопясь двигается лангуст, шевеля длиннейшими, как бамбуковые удилища, усами; и еще множество разных чудес живет в прозрачной воде, под небом, таким же ясным, но более пустынным, чем море.

А море — дышит, мерно поднимается голубая его грудь; на скалу, к ногам Туба, всплескивают волны, зеленые с белым, играют, бьются о камень, звенят, им хочется подпрыгнуть до ног парня, — иногда это удается, вот он, вздрогнув, улыбнулся — волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто бы испугались, и снова бросаются на скалу; солнечный луч уходит глубоко в воду, образуя воронку яркого света, ласково пронзая груди волн, — спит сладким сном душа, не думая ни о чем, ничего не желая понять, молча и радостно насыщаясь тем, что

видит, в ней тоже ходят неслышно светлые волны и, всеобъемлющая, она безгранично свободна, как море.

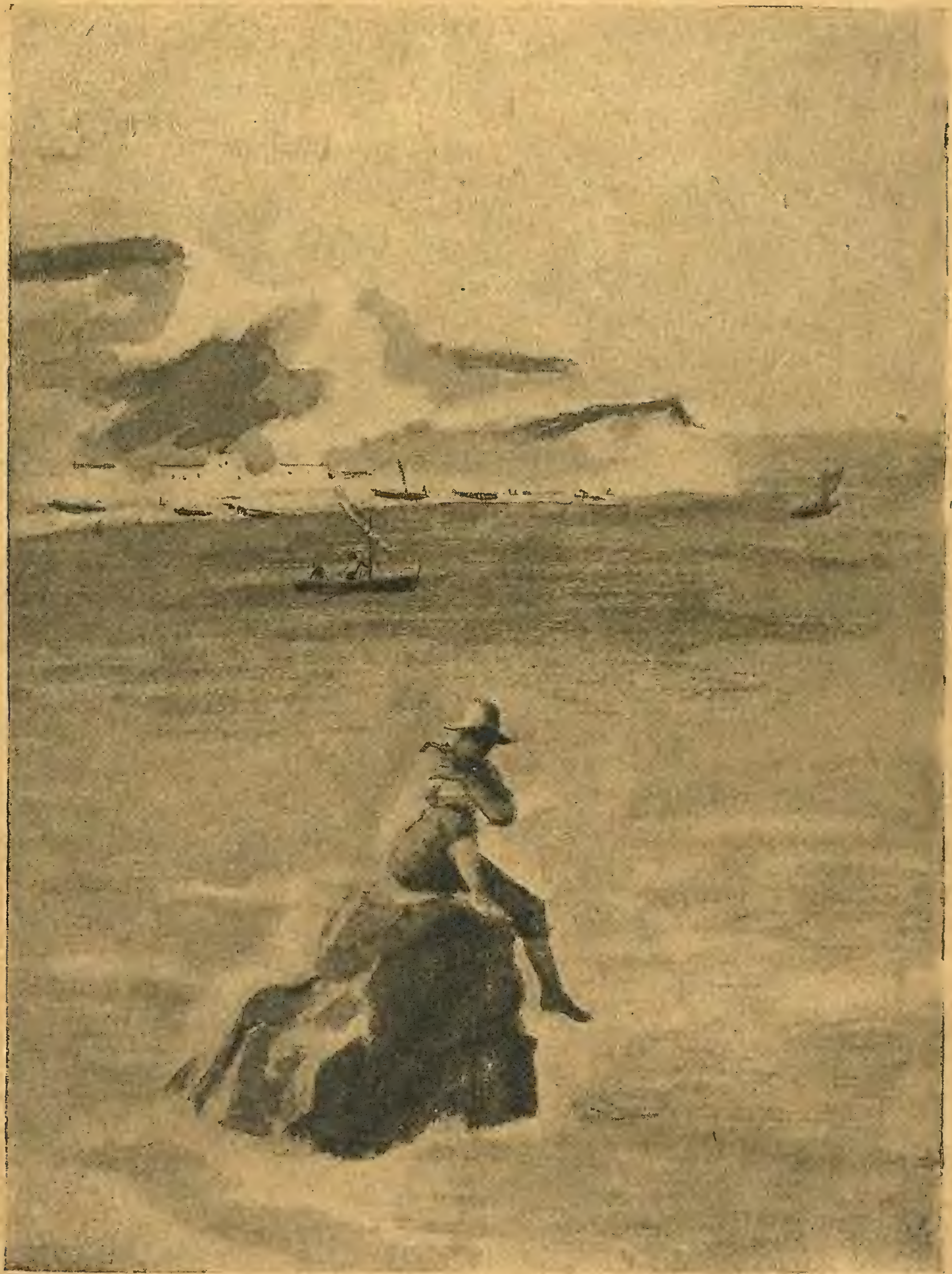
Так проводил он праздники, потом это стало звать его и в будни — ведь когда человека схватит за сердце море, он сам становится частью его, — как сердце — только часть живого человека. И вот, бросив землю на руки брата, Туба ушел с компанией таких же, как сам он, влюбленных в простор, к берегам Сицилии — ловить кораллы: трудная, а славная работа, можно утонуть десять раз в день, но зато — сколько видишь удивительного, когда из синих вод тяжело поднимается сеть — полукруг с железными зубцами по краю, и в ней — точно мысли в черепе — движется живое, разнообразных форм и цветов, а среди него — розовые ветви драгоценных кораллов — подарок моря.

Так и заснул навсегда для земли человек, плененный морем; он и женщин любил точно сквозь сон, недолго и молча, умея говорить с ними лишь о том, что знал — о рыбе и кораллах, об игре волн, капризах ветра и больших кораблях, которые уходят в неведомые моря; был он кроток на земле, ходил по ней осторожно, недоверчиво, и молчал с людьми, как рыба, поглядывая во все глаза зорким взглядом человека, привыкшего смотреть в изменчивые глубины и не верить им, а в море он становился тихо-весел, внимателен к товарищам и ловок, точно дельфин.

Но как бы хорошо человек ни выбрал жизнь для себя — ее хватает лишь на несколько десятков лет; когда просоленному морской водою Туба минуло восемьдесят — его руки, изувеченные ревматизмом, отказались работать — достаточно! — искривленные ноги едва держали согнутый стан, и, овеянный всеми ветрами старик, он с грустью вышел на остров, поднялся на гору, в хижину брата, к детям его и внукам — это были люди слишком бедные для того, чтобы быть добрыми, и теперь старый Туба не мог — как делал раньше — приносить им много вкусных рыб.

Старику стало тяжело среди этих людей, они слишком внимательно смотрели за кусками хлеба, которые он совал кривою, темной лапой в свой беззубый рот; вскоре он понял, что лишний среди них; потемнела у него душа, сердце сжалось печалью, еще глубже легли морщины на коже, высушенной солнцем, и заныли кости незнакомою болью; целые дни, с утра до вечера, он сидел на камнях у двери хижины, старыми глазами глядя на светлое море, где растаяла его жизнь, на это синее, в блеске солнца, море, прекрасное, как сон.

Далеко оно было от него, и трудно старику достичь берега, но он



решился, и однажды, тихим вечером, пополз с горы, как раздавленная ящерица по острым камням, и когда достиг волн — они встретили его знакомым говором, более ласковым, чем голоса людей, звонким плеском о мертвые камни земли; тогда — как после догадывались люди — встал на колени старик, посмотрел в небо и в даль, помолился немного и молча за всех людей, одинаково чужих ему, снял с костей своих лохмотья, положил на камни эту старую шкуру — свою и, все-таки, чужую — вошел в воду, встряхивая седой головой, лег на спину и, глядя в небо — поплыл в даль, где темносиняя завеса небес касается краем своим черного бархата морских волн, а звезды так близки морю, что, кажется, их можно достать рукой.

Тихими ночами лета море спокойно, как душа ребенка, утомленного играми дня, дремлет оно, чуть вздыхая, и, должно быть, видит какие-то яркие сны — если плыть ночью по его густой и теплой воде, синие искры горят под руками, синее пламя разливается вокруг; и душа человека тихо тает в этом огне, ласковом, точно сказка матери.



СТАРИК ЧЕККО

В священной тишине восходит солнце, и от камней острова поднимается в небо сизый туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов дрока.

Остров, среди темной равнины сонных вод, под бледным куполом неба, подобен жертвеннику пред лицом бога-солнца.

Только что погасли звезды, но еще блесит белая Венера, одиноко утопая в холодной высоте мутного неба, над прозрачной грядой перистых облаков; облака чуть окрашены в розоватые краски и тихо сгорают в огне первого луча, а на спокойном лоне моря их отражения — точно перламутр, всплывший из синей глубины вод.

Выпрямляются встречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы, ее светлые капли висят на концах стеблей, полнеют и, срываясь, падают на землю, вспотевшую в жарком сне. Хочется слышать тихий звон их падения — грустно, что не слышишь его.

Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору густые вздохи моря, пробужденного солнцем.

А, все-таки, — тихо, люди еще спят. В свежести утра запах цветов и трав яснее, чем звуки.

Из двери белого домика, захлестнутого виноградниками, точно лодка зелеными волнами моря, выходит навстречу солнцу древний старец

Этторе Чекко, одинокий человечек, нелюдим, с длинными руками обезьяны, с голым черепом мудреца, с лицом, так измятым временем, что в его дряблых морщинах почти не видно глаз.

Медленно приподняв ко лбу черную, волосатую руку, он долго смотрит в розовеющее небо, потом — вокруг себя; пред ним, по серовато-лиловому камню острова переливается широкая гамма изумрудного и золотого, горят розовые, желтые и красные цветы; темное лицо старика дрожит в добродушной усмешке, он утвердительно кивает круглой, тяжелой головой.

Он стоит, точно поддерживая тяжесть, чуть согнув спину, широко расставив ноги, а вокруг него всё веселей играет юный день, ярче блестит зелень виноградников, громче щебечут вьюрки и чижи; в зарослях ежевики, ломоноса, в кустах молочая — бьют перепела, где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец.

Старый Чекко поднимает длинные усталые руки над головою, потягивается, точно собираясь лететь вниз, к морю, спокойному, как вино в чаше.

А расправив старые кости, он опустился на камень у двери, вынул из кармана куртки открытое письмо, отвел руку с ним подальше от глаз, прищурился и смотрит, беззвучно шевеля губами. На большом, давно небритом и точно посеребренном лице его — новая улыбка: в ней странно соединены любовь, печаль и гордость.

Пред ним на куске картона изображены синей краской двое широкоплечих парней, они сидят плечо с плечом и весело улыбаются, кудрявые, большеголовые, как сам старик Чекко, а над головами их крупно и четко напечатано:

АРТУРО И ЭНРИКО ЧЕККО

два благородных борца за интересы своего класса. Они организовали 25000 текстильных рабочих, заработок которых составлял 6 долларов в неделю, и за это они посажены в тюрьму.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ

БОРЦЫ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Старик Чекко неграмотен, и надпись сделана на чужом языке, но он знает, что написано именно так, каждое слово знакомо ему и кричит, поет, как медная труба.

Эта синяя открытка принесла старику много тревоги и хлопот: он получил ее месяца два тому назад и тотчас же, инстинктом отца, почувствовал, что дело неладно — ведь портреты бедных людей печатаются лишь тогда, когда эти люди нарушают законы.

Чекко спрятал в карман этот кусок бумаги, но он лег ему на сердце камнем и с каждым днем всё становился тяжелей. Не однажды он хотел показать письмо священнику, но долгий опыт жизни убедил его, что люди справедливо говорят: «может быть поп и говорит богу правду про людей, но людям правду — никогда».

Первый, у кого он спросил о таинственном значении открытки, был рыжий художник, иностранец — длинный и худой парень, который очень часто приходил к дому Чекко и, удобно поставив мольберт, ложился спать около него, пряча голову в квадратную тень начатой картины.

— Синьор, — спросил он художника, — что сделали эти люди?

Художник посмотрел на веселые рожи детей старика и сказал:

— Должно быть, что-то смешное...

— А что напечатано про них?

— Это — по-английски. Кроме англичан, их язык понимает только бог, да еще моя жена, если она говорит правду в этом случае. Во всех других случаях она не говорит правды...

Художник был болтлив, как чиж, он, видимо, ни о чем не мог говорить серьезно. Старик угрюмо отошел прочь от него, а на другой день явился к жене художника, толстой синьоре, — он застал ее в саду, где она, одетая в широкое и прозрачное белое платье, таяла от жары, лежа в гамаке и сердито глядя синими глазами в синее небо.

— Эти люди посажены в тюрьму, — сказала она ломаным языком.

У него дрогнули ноги, как будто весь остров пошатнулся от удара, но он, все-таки, нашел силы спросить:

— Украли или убили?

— О, нет! Просто они — социалисты.

— Что такое — социалисты?

— Это — политика, — сказала синьора голосом умирающей и закрыла глаза.

Чекко знал, что иностранцы — самые бестолковые люди, они глупее калабрийцев, но ему хотелось знать правду о детях, и он долго стоял около синьоры, ожидая, когда она откроет свои большие ленивые глаза. А когда, наконец, это случилось, он спросил, ткнув пальцем в карточку:

— Это — честно?

— Я не знаю, — ответила она с досадой. — Я сказала — это политика, понимаешь?

Нет, он не понимал: политику делают в Риме министры и богатые люди, для того, чтобы увеличить налоги на бедных людей. А его дети — рабочие, они живут в Америке и были славными парнями — зачем им делать политику?

Всю ночь он просидел с портретом детей в руках — при луне он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли. Утром решил спросить священника, — черный человек в сутане кратко и строго сказал:

— Социалисты — это люди, которые отрицают волю бога, — достаточно, если ты будешь знать это.

И добавил еще строже вслед старику:

— Стыдно в твои годы интересоваться такими вещами!..

— Хорошо, что я не показал ему портрета, — подумал Чекко.

Прошло еще дня три, он пошел к парикмахеру, щеголю и вертопраху. Про этого парня, здорового, как молодой осел, говорили, что он за деньги любит старых американок, которые приезжают будто бы наслаждаться красотой моря, а на самом деле ищут приключений с бедными парнями.

— Боже! — воскликнул этот дурной человек, прочитав надпись, и щеки его радостно вспыхнули. — Это Артуро и Энрико, мои товарищи! О, я от души поздравляю вас, отец Этторе, вас и себя! Вот у меня и еще двое знаменитых земляков — можно ли не гордиться этим?

— Не болтай лишнего, — предупредил его старик.

Но тот кричал, размахивая руками:

— Это — хорошо!

— Что напечатано про них?

— Я не могу прочитать, но я уверен, что напечатали правду. Бедняки должны быть великими героями для того, чтобы о них сказали правду, наконец!

— Молчи, прошу тебя, — сказал Чекко и ушел, яростно стуча деревянными башмаками по камням.

Он пошел к русскому синьору, о котором говорили, что это добрый и честный человек. Пришел, сел у койки, на которой тот медленно умирает, и спросил его:

— Что сказано об этих людях?

Прищурив глаза, обесцвеченные болезнью и печальные, русский слабым голосом прочитал надпись на открытке и хорошо улыбнулся старику, а тот сказал ему:

— Синьор, вы видите — я очень стар и уже скоро пойду к моему богу. Когда мадонна спросит меня — что я сделал с моими детьми, я должен буду рассказать ей это правдиво и подробно. Это мои дети здесь на карточке, но я не понимаю, что они сделали и почему в тюрьме?

Тогда русский очень серьезно и просто посоветовал ему:

— Скажите мадонне, что ваши дети хорошо поняли главную заповедь ее сына: они любят ближних живой любовью...

Ложь нельзя сказать просто: она требует громких слов и многих украшений, — старик поверил русскому и крепко пожал его маленькую, не знавшую труда руку.

— Значит, это не позорно для них — тюрьма?

— Нет, — сказал русский. — Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это, бедные же попадают в тюрьмы, чуть только они захотят немножко добра. Вы — счастливый отец, вот что я вам скажу!

И слабеньким своим голосом он долго говорил Чекко о том, что затеяно в жизни ее честными людьми, о том, как они хотят победить нищету, глупость и всё то, страшное и злое, что рождается глупостью и нищетой...

Солнце горит в небе, как огненный цветок, и сеет золотую пыль своих лучей на серые груди скал, а из каждой морщины камня, встречу солнцу, жадно тянется живое — изумрудные травы, голубые, как небо, цветы. Золотые искры солнечного света вспыхивают и гаснут в полных каплях хрустальной росы.

Старик следит, как всё вокруг него дышит светом, поглощая его живую силу, как хлопочут птицы и, строя гнезда, поют; он думает о своих детях: парни за океаном, в тюрьме большого города — это плохо для их здоровья, плоховато, да...

Но — они в тюрьме за то, что выросли честными ребятами, каким был всю жизнь их отец, это — хорошо для них и для его души.

И бронзовое лицо старика точно тает в гордой улыбке.

— Земля — богата, люди — бедны, солнце — доброе, человек — зол. Всю жизнь я думал об этом и, хотя не говорил им, а они поняли думы отца. Шесть долларов в неделю — это сорок лир, ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч таких же, как они, согласились с ними — этого мало для человека, который хочет хорошо жить...

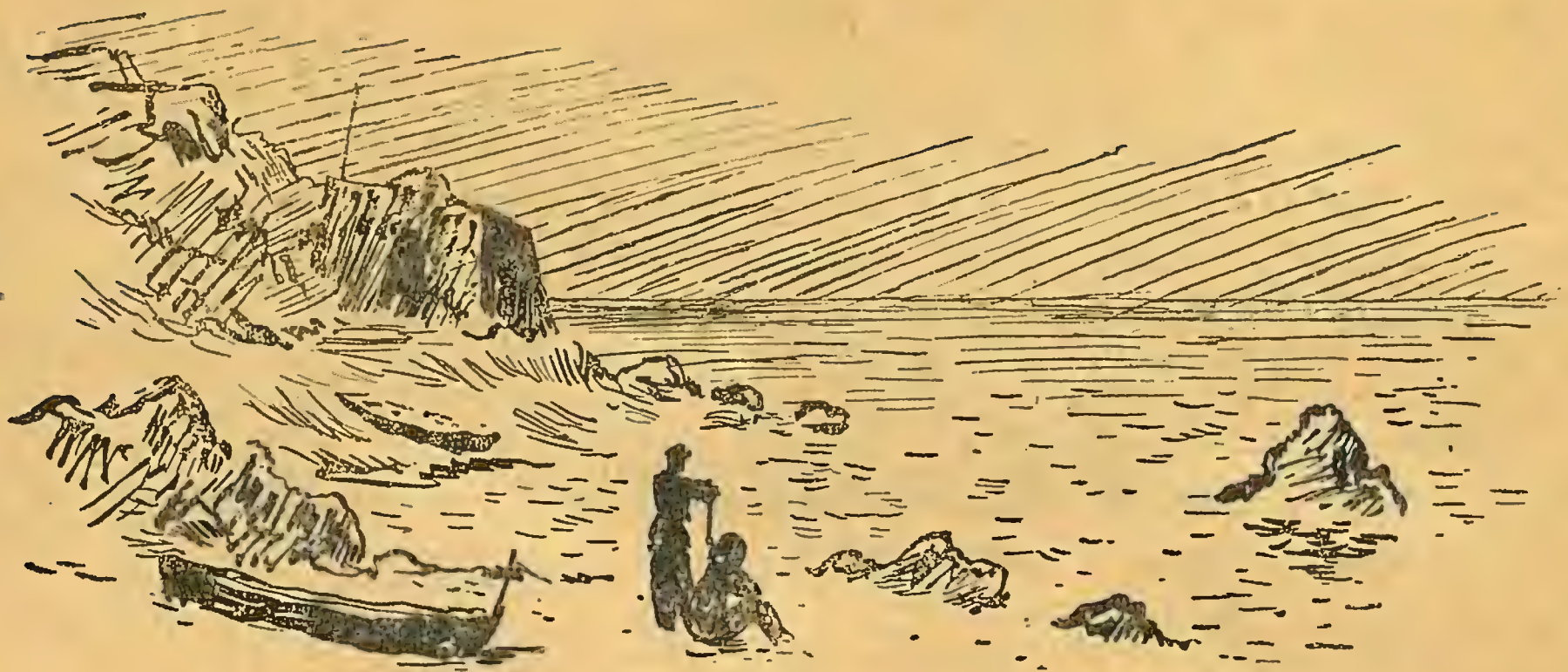
Он уверен, что в его детях развились и выросли скрытые мысли его сердца, он очень гордится этим, но, зная, как мало люди верят сказкам, которые создают сами же они каждый день, он молчит.

Лишь иногда старое емкое сердце переполняется думами о будущем детей, и тогда старый Чекко, выпрямив натруженную спину, выгибает грудь и, собрав последние силы, хрипло кричит в море, в даль, туда, к детям:

— Вальо-о!..

И солнце смеется, восходя всё выше над густой и мягкой водою моря, а люди с виноградников отвечают старику:

— Ой-и!..



НОЧЬЮ

Остров спит — окутан строгой тишиной, море тоже спит, точно умерло, — кто-то сильною рукой бросил с неба этот черный, странной формы камень в грудь моря и убил в ней жизнь.

Если смотреть на остров из дали морской, оттуда, где золотая дуга Млечного пути коснулась черной воды — остров кажется лобастым зверем: выгнув мохнатую спину, он прильнул к морю огромной пастью и молча пьет воду, застывшую, как масло.

В декабре очень часты эти мертвенно-тихие черные ночи, до того странно тихие, что неловко и не нужно говорить иначе как шопотом или вполголоса, — все кажется, что громкий звук может помешать чему-то, что тайно зреет в каменном молчании под синим бархатом ночного неба.

Так и говорят — вполголоса — двое людей, сидя в хаосе камня на берегу острова; один — таможенный солдат в черной куртке с желтыми кантами и коротким ружьем за спиной — он следит, чтоб крестьяне и рыбаки не собирали соль, отложившуюся в щелях камней; другой — старый рыбак, обритый точно испанец, темнолицый, в серебряных баках от ушей к носу, — нос у него большой и загнут точно у попугая.

Камни как будто окованы серебром, но море окислило белый металл.

Солдат молод и, конечно, говорит о том, что внушают ему года, старик возражает, неохотно и, порою, сердито:

— Кто же любит в декабре? В это время уже родятся дети...

— Н-но! Если люди молоды — они не ждут...

— Нужно ждать...

— Ты ждал?

— Я, друг мой, не был солдатом, я работал, и всё, что человек должен испытать — мною испытано в свои сроки...

— Не понимаю...

— Потом — поймешь...

Недалеко от берега в воде отражается голубой Сириус; если долго присматриваться к этому тусклому пятну на воде — рядом с ним становится виден пробковый буюк, круглый, точно голова человека, и совершенно неподвижный.

— Отчего ты не спишь?

Старик распахнул потертый плащ, рыжий от старости, и ответил покашливая:

— У нас поставлена сеть, — видишь буй?

— А...

— Три дня тому назад сеть одной компании была сорвана и спутана...

— Дельфины?

— Зимой? Нет, конечно. Может быть, акула, тонна... кто знает?

Под ногою какого-то зверя маленький камень сорвался с горы, побежал, шелестя сухой травой, к морю и звонко разбил воду. Этот краткий шум хорошо принят молчаливой ночью и любовно выделен ею из своих глубин, точно она хотела надолго запомнить его.

Солдат тихонько напевает насмешливую песенку:

— Отчего старики плохо спят?

Догадайся, Умберто, подумай!

— Оттого, что слишком много

Пили в юности вина...

— Это не про меня сказано, — ворчливо отозвался старик.

— А еще отчего плохо спят старики?

Что ты скажешь, Бергито умный?

— Оттого, что в свое время

Не любили, сколько нужно...

— Хорошая песня, дядя Пашкале?

— Ты сам узнаешь это, когда тебе минет шестьдесят... Зачем спрашивать?

Долго оба молчали согласно с миром, онемевшим в ночи, потом старик, вынув трубку, постучал ею о камень, прислушался к сухим коротким звукам и сказал:

— Вы, мальчики, смеетесь хорошо, но не знаю, так ли хорошо вы умеете любить, как любили в старину...

— Ба! Знакомая песня... Любят всегда одинаково, я думаю...

— Ты думаешь! Надо знать. Вон, за горою, живет семья Сенцамане, — спроси у них историю деда Карло — это будет полезно для твоей жены.

— Что мне спрашивать незнакомых людей, если ты сам можешь рассказать эту историю...

Где-то невидимо летит ночная птица, — в воздухе трепещет особенный и странный звук — точно чем-то шерстяным торопливо оттирают сухие камни.

Тьма на земле становится гуще, сырее, теплее, небо уходит выше, и всё ярче сверкают звезды в серебряном тумане млечного пути.

— В старину женщины ценились дороже...

— Будто? Не слышал.

— Люди часто воевали...

— Вдов оставалось много...

— Постоянно — пираты, солдаты, и почти каждые пять лет в Неаполе новые правители, — женщин надо было держать под замком.

— Это и теперь не плохо...

— Их воровали, точно кур...

— Хотя они больше похожи на лисиц...

Старик замолчал, зажег трубку, — в неподвижном воздухе повисло белое облако сладкого дыма. Вспыхивает огонь, освещая кривой, темный нос и коротко стриженные усы под ним.

— Ну, что же далее? — сонно спросил солдат.

— Слушать надо молча...

В трепете Сириуса такое напряжение, точно гордая звезда хочет затмить блеск всех светил. Море осеяно золотой пылью, и это почти незаметное отражение небес немного оживляет черную, немую пустыню, сообщая ей переливчатый, призрачный блеск. Как будто из глубин морских смотрят в небо тысячи фосфорических сияющих глаз...

— Я слушаю, — нетерпеливо нарушил солдат обиженное, рыбье молчание рыбака, и, не спеша, не громко, старик начал сплетать повествование о том, что все и всегда будут слушать внимательно.

— Лет сто тому назад, вон там на горе, где густые сосны, жили греки Экеллани, горбатый старик, колдун и контрабандист, а у него — сын, Аристидо, охотник, — тогда на острове еще водились козы. В ту пору здесь самой богатой семьей были Гальярди, — теперь они носят прозвище деда — Сенцамане, — половина виноградников была в их руках, восемь подвалов имели они и более тысячи бочек. Тогда наше белое вино ценилось даже во Франции, где, как я слышал, ничего не умеют ценить, кроме вина. Эти французы все игроки и пьяницы, они проиграли в карты сатане даже голову короля своего...

Солдат тихонько засмеялся и, отвечая его смеху, где-то близко всплеснула вода; оба молча насторожились, вытянув шеи к морю, а от берега кольцами уходила тихая рябь.

— Это — черния пробует наживу на крючках...

— Продолжай...

— Да... Гальярди. Их было трое братьев, — история говорит о среднем, Карлоне, как его назвали за огромный рот и потрясающий голос. Он выбрал себе для сердца бедную девушку Джулию, дочь кузнеца, очень умную девушку, — силачи ведь не бывают умными. Что-то мешало им жениться, и они томились, ожидая дня своей свадьбы, а сын грека — не дремал, ему тоже нравилась Джулия. Он долго старался о том, чтоб она полюбила его, но не имел успеха и решил опозорить девушку, рассчитав, что Карлоне Гальярди откажется от порочной, и тогда ему легко будет взять ее. В то время было строже, чем теперь...

— Н-ну и теперь...

— Распутство — веселье богатых, а мы здесь все бедные, — сурово сказал старик и продолжал что-то, себе самому напоминая прошлое:

— Однажды, когда девушка собирала срезанные ветки лоз, — сын грека, как будто оступившись, свалился с тропы над стеною ее виноградника и упал прямо к ногам ее, а она, как хорошая христианка, наклонилась над ним, чтоб узнать, нет ли ран? Стоная от боли, он спросил ее:

— Джулия, не зови людей на помощь, прошу тебя! Я боюсь, — если ревнивый жених твой увидит меня рядом с тобою — он меня убьет... Дай мне отдохнуть, я уйду...

Положив голову на колени ей, он притворился потерявшим сознание;

а она, испуганная, закричала о помощи, но когда прибежали люди — он вдруг вскочил на ноги, здоровешенек, но будто бы очень смущенный, и начал кричать о своей любви, о своих честных намерениях, клялся, что прикроет позор девушки браком, — поставил дело так, словно он, утомленный ласками Джулии, заснул на коленях ее. Простодушные люди поверили ему, несмотря на гнев девушки, забыв о том, что ведь она сама звала на помощь, — никто не знал, что характер грека зовется хитростью. Греков крестил чорт — для того, чтобы лучше запутать все дела христиан. Девушка клянется, что грек — лжет, а он убеждает людей, что Джулии стыдно признать правду, что она боится тяжелой руки Карлоне; он одолел, а девушка стала как безумная, и все пошли в город, связав ее, потому что она кидалась на людей с камнем в руке. А Карлоне уже услышал ее крики, бросился встречу ей, но когда ему сказали, что случилось, он упал на колени среди толпы, потом вскочил и ударил невесту свою левой рукою по лицу, а правой стал душить грека, — народ едва успел отнять его.

— Глупый был парень, — проворчал солдат...

— Ум честного человека — в сердце! Я сказал, что эта история была зимою, перед праздником рождения младенца Иисуса. Всего за несколько дней. В этот праздник у нас люди дарят друг другу от избытков своих вино, фрукты, рыбу и птиц, — все дарят и, конечно, больше всех получают наиболее бедные. Я не помню, как узнал Карлоне правду, но он ее узнал, и вот в первый день праздника отец и мать Джулии, не выходявшие даже и в церковь, получили только один подарок: небольшую корзину сосновых веток, а среди них — отрубленную кисть левой руки Карлоне Гальярди, — кисть той руки, которой он ударил Джулию. Они — вместе с нею — в ужасе бросились к нему, Карлоне встретил их, стоя на коленях у двери его дома, его рука была обмотана кровавой тряпкой, и он плакал, точно ребенок.

— Что ты сделал с собою? — спросили его.

Он ответил:

— Я сделал то, что следовало: человек, оскорбивший мою любовь, не может жить, — я его убил... Рука, ударившая безвинно мою возлюбленную — оскорбила меня, я ее отсек... Я хочу теперь, чтоб ты, Джулия, простила меня, ты и все твои...

Они-то, конечно, простили его, но есть закон и для защиты негодяев — два года сидел Гальярди в тюрьме за грека, и очень дорого стоило братьям вытащить из нее Карлоне...



Потом он женился на Джулии и хорошо жил с нею до старости, создав на острове новую фамилию — Безруких — Сенцамане...

Старик замолчал, усиленно раскуривая трубку.

— Не нравится мне эта история, — тихо сказал солдат. — Этот твой Карлоне — дикарь... И глупо всё...

— Твоя жизнь через сто лет тоже покажется глупостью, — внушительно проговорил старик и, выпустив большой клуб белого во тьме дыма, прибавил:

— Если только кто-нибудь вспомнит, что ты жил на земле...

Снова в тишине раздался плеск воды, теперь сильный и торопливый; старик сбросил плащ, быстро встал на ноги и скрылся, точно упал в черную воду, оживленную у берега светлыми точками ряби, синеватой, как серебро рыбьей чешуи.



МОЛОДАЯ ИТАЛИЯ

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь, вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

— Не будь суров с людьми...

— Разве ты, мама, замечала за мной это? — вдумчиво спрашивает юноша.

— Ты слишком горячо споришь.

— Горячо люблю мою правду.

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо; там горит большая вечерняя звезда и ниже ее — красноватая полоса зари, и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

— Социалистов часто сажают в тюрьму, — вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

— Перестанут! Это ведь бесполезно...

— Да, но пока...

— Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира!

— Это — слова для песни, сынок...

— Миллионы голосов поют эту песню, и всё более внимательно слушает ее вся жизнь! Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

— Да! Да, — но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

— Он мал для двоих, пусть остается Паоло. А стачку мы выиграли...

— Выиграли! — звучно откликнулась девушка. — Ты и Паоло...

Не кончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный холм, развалины какого-то здания, над ним задумчиво опустил тонкие ветки ароматный эвкалипт и, когда они трое поровнялись с деревом, ветви его, как будто, тихо вздрогнули.

— Вот — Паоло! — говорит девушка.

Черная, высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги.

— Сердцем увидала? — спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

— Идешь?

— Да. Вот тебе — мой! Не провожайте меня дальше, не нужно. У меня всего пять часов до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтоб собраться в дороге с мыслями..

Остановились. Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

— Ты можешь быть спокоен за мать и за сестру. Всё будет хорошо.

— Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько, потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

— Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, всё хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням, — чуткая ночная тишина отражает все звуки, как в зеркале.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разорвались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

— Прощай! — тихо и печально раздается в ночи

Издали откликнулся бодрый голос:

— Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:

— Он не пропадет, донна Филомена, можете верить в это, как в милость вашей мадонны! У него хороший ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других любить его. А любовь к людям это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего...

Город всё обильнее сеет во тьму свои скромные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

— Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его, везде!

У городской стены, прижался к ней, присел на землю низенький, белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным окном освещенной двери. Около нее, за тремя столиками, шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поровнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось.

— Добрый вечер, товарищи! — сказал высокий.

И десяток голосов ответил радостно, дружески:

— Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам? Стакан вина?

— Нет... Благодарю.

Мать, вздохнув, сказала:

— И тебя очень любят все наши...

— Наши, донна Филомена?

— Э, не смейся! Не чужая своему народу говорит с тобой. Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

— Все и — еще одна! Так?

— Да! — тихо сказала девушка. — Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

— Ах, дети! Слушаешь вас, смотришь и веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и растрепанной, как рукав старой, изношенной одежды...



НЕНАВИСТЬ

С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и, разорванную на множество дымных кустов, ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свилась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем.

На востоке небо темно, в темноте рыщут молнии, а над островом ослепительно пылает великолепное солнце.

Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день: весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя — топазами на желтоватом молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глициний, рубинами на кумаче герани, и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листве деревьев.

Тихо, как всегда бывает тотчас после дождя; чуть слышен тонкий звон ручья, невидимого среди камней, под корнями молочая, ежевики и пахучего, запутанного ломоноса. Внизу мягко звучит море.

Золотые стрелы дрока поднялись в небо и качаются тихонько, отягченные влагой, бесшумно стряхивая ее с причудливых своих цветов.

На сочном фоне зелени горит яркий спор светлолиловых глициний с кровавой геранью и розами, рыжевато-желтая парча цветов молочая смешана с темным бархатом ирисов и левкоев — всё так ярко и светло, что кажется, будто цветы поют, как скрипки, флейты и страстные виолончели.

Влажный воздух душист и хмелен, как старое, крепкое вино.

Под серой скалою, расколотою, изорванной взрывами, покрытой в трещинах жирными окисями железа, среди желтых и серых камней, от которых льется кисловатый запах динамита, сидят, обедая, четверо каменоломов, — крепкие мужики в мокрых лохмотьях, в кожаных лаптях.

Не спеша, они вкусно едят из большой плоской тарелки крепкое мясо спрута, зажаренного с картофелем и помидорами в оливковом масле, и пьют поочередно красное вино из горлышка бутылки.

Двое из них — бритые и похожие друг на друга, как братья — кажется даже, что близнецы; один — маленький, кривой и колченогий, напоминает суетливыми движениями сухого тела старую ощипанную птицу; четвертый — широкоплечий, бородатый и горбоносый человек средних лет, сильно седой.

Отламывая большие куски хлеба, он расправляет ими усы, мокрые от вина, и, вложив кусок в темный рот, говорит, мерно двигая волосатыми челюстями:

— Это — сказки, это — ложь! Ничего страшного я не сделал...

Его карие глаза смотрят из-под густых бровей невесело, насмешливо; голос у него тяжелый, сиплый, речь медленна и неохотна. Шляпа, волосатое разбойничье лицо, большие руки и весь костюм синего сукна обрызганы белой каменной мукою, — очевидно, это он сверлит в скале скважины для зарядов.

Трое товарищей слушают его внимательно, не перебивая, но поочередно заглядывают в глаза ему, как бы говоря:

— Продолжай...

Он рассказывает, двигая седыми бровями:

— Этот человек — его звали Андреа Грассо — пришел к нам в деревню ночью, как вор; он был одет нищим, шляпа одного цвета с сапогами и такая же рваная. Он был жаден, бесстыден и жесток. Через семь лет старики наши первые снимали перед ним шляпы, а он им едва кивал головою. И все, на сорок миль вокруг, были в долгах у него.

— Такие люди есть, — сказал колченогий, вздохнув и качая головой.

Рассказчик взглянул на него, насмешливо спросив:

— Встречал?

Старик молча махнул рукою, бритые усмехнулись оба как один, горбоносый выпил вина и продолжал, следя за полетом сокола в синем небе:

— Мне было тринадцать лет, когда он нанял меня вместе с другими

носить камень на постройку его дома. Он обращался с нами более безжалостно, чем с животными, и когда мой товарищ, Лукино, сказал ему это, он ответил ему: «Осел — мой, ты — чужой мне, почему я должен жалеть тебя?» Эти слова ударили меня в сердце, я стал смотреть на него более внимательно. Он со всеми обращался нагло и цинично — старик, женщина, ему всё равно, вижу я. А когда почтенные люди говорили ему, что это плохо, он возражал, смеясь в глаза им: «Когда я был беден, меня тоже не жалели». Он водил дружбу с попами, с карабинерами, полицией; остальные люди видели его только в дни горькой своей нужды, когда он мог делать с ними всё, что хотел.

— Такие люди есть, — повторил колченогий тихонько, и все трое сочувственно взглянули на него; один бритый молча протянул ему бутылку вина, старик взял ее, посмотрел на свет и сказал, перед тем как выпить:

— Пью за святое сердце мадонны!

— Он часто говаривал: «Всегда бедняки работали на богатых и глупые на умных, так и должно быть всегда».

Рассказчик усмехнулся, протянул руку к бутылке, — она была пуста. Он небрежно отбросил ее на камни, где валялись молотки, кирки и темной змеей вытянулся кусок бикфордова шнура.

— Мне, молодому тогда, и товарищам моим было особенно обидно слышать эти слова: они убивали наши надежды, наше желание лучшей жизни. Вот однажды я и Лукино, друг мой, встретив его вечером в поле, когда он не спеша ехал куда-то верхом, сказали ему вежливо, но внушительно: «Мы просим вас быть добрее к людям».

Бритые расхохотались, тихонько усмехнулся и кривой, а рассказчик шумно вздохнул.

— Да, конечно, глупо! Но молодость честна. Молодость верит в силу слова. Я скажу: молодость — это совесть всей жизни...

— Что ж он? — спросил старик.

— Он закричал нам довольно храбро: «Пустите лошадь, разбойники!» И, вынув пистолет, показывал то одному, то другому. Мы сказали: «Вам, Грассо, нечего бояться нас, не на что сердиться, мы советуем вам и только!»

— Это хорошо! — сказал один бритый, другой согласно наклонил голову; колченогий, плотно поджав губы, стал рассматривать камень, щупая его кривыми пальцами.

Они кончили есть. Один сбивал тонким прутком стеклянные капли

воды со стеблей трав, другой, следя за ним, чистил зубы сухой былинкой. Становится всё более сухо и жарко. Быстро тают короткие тени полудня. Тихо плещет море, медленно течет серьезный рассказ:

— Эта встреча плохо отозвалась на судьбе Лукино, — его отец и дядя были должниками Грассо. Бедняга Лукино похудел, сжал зубы, и глаза у него не те, что нравились девушкам. «Эх, — сказал он мне однажды, — плохо сделали мы с тобой. Слова ничего не стоят, когда говоришь их волку!» Я подумал: «Лукино может убить». Было жалко парня и его добрую семью. А я — одинокий, бедный человек. Тогда только что померла моя мать.

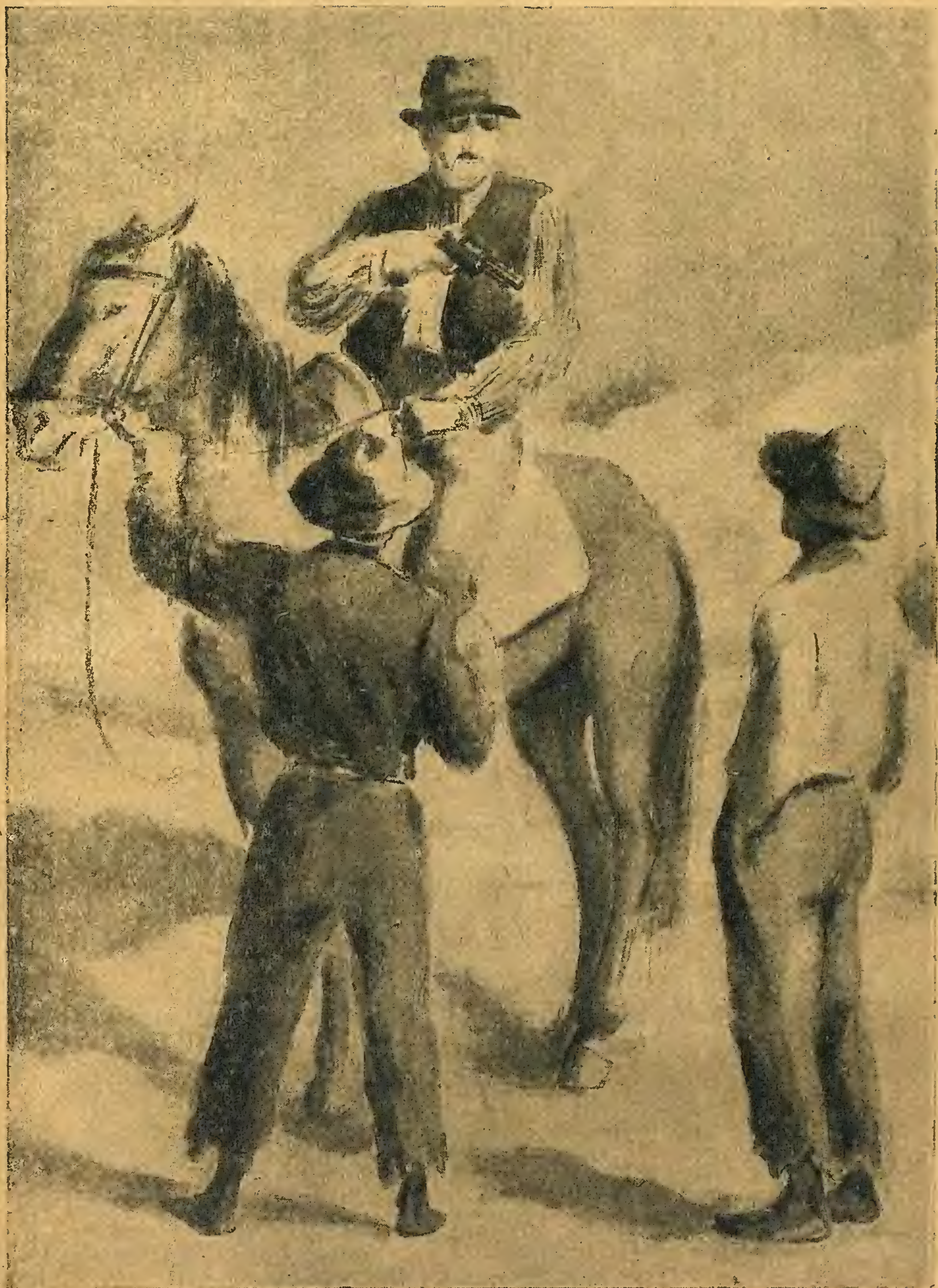
Горбоносый каменолом расправил усы и бороду белыми, в известке, руками, — на указательном пальце его левой руки — светлый серебряный перстень, очень тяжелый, должно быть.

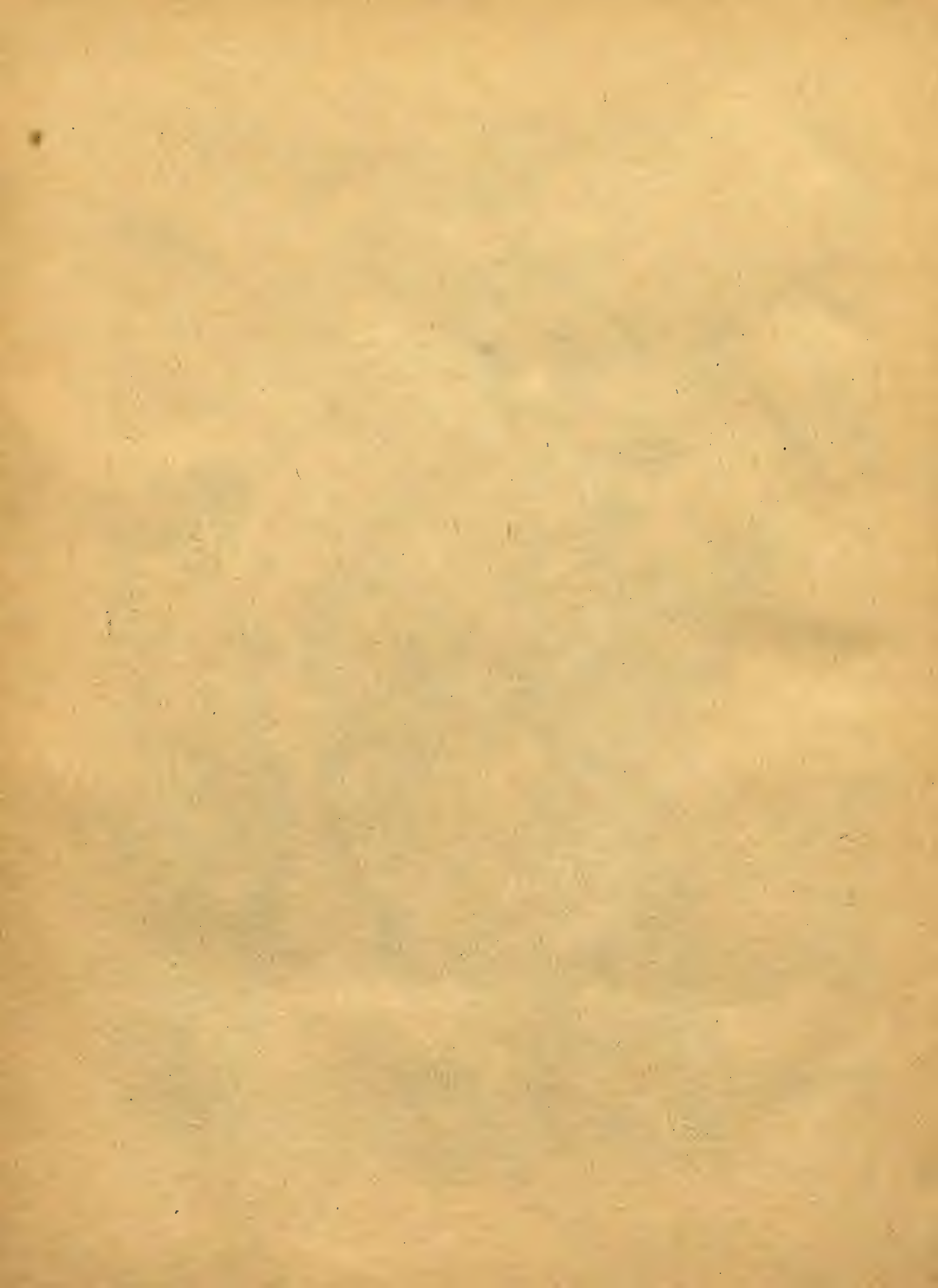
— Мой поступок мог быть полезен людям, если б я сумел довести дело до конца, но у меня мягкое сердце. Однажды я, встретив Грассо на улице, пошел рядом с ним, говоря, как мог, кротко: «Вы человек жадный и злой, людям трудно жить с вами, вы можете толкнуть кого-нибудь под руку, и эта рука схватит нож. Я говорю вам: уходите от нас прочь, уезжайте». «Ты глуп, малый!» — сказал он, но я стоял на своем. Он спросил, смеясь: «Сколько тебе дать, чтоб ты оставил меня в покое, — лиру, довольно?» Это было обидно, но я сдержался. «Уходите, говорю вам!» Я шел плечо в плечо с ним; с правой стороны. Он, незаметно, достал нож и ткнул меня им. Лево́й руко́ю немного сделаешь, он и проткнул мне грудь на дюйм. Конечно, я бросил его на землю и ударил ногой, как бьют свиней. «Итак, ты уйдешь!» — сказал я ему, когда он ползал по земле.

Оба бритые взглянули на рассказчика недоверчиво и опустили глаза. Колченогий, согнувшись, перевязывал кожаные ремни обуви.

— Утром, когда я еще спал, пришли карабинеры и отвели меня к маршалу, куму Грассо. «Ты честный человек, Чиро, — сказал он, — ты ведь не станешь отрицать, что в эту ночь хотел убить Грассо». Я говорил, что это еще неправда, но у них свой взгляд на такие дела. Два месяца я сидел в тюрьме до суда, а потом меня приговорили на год и восемь. «Хорошо, — сказал я судьям, — но я не считаю дело конченным!»

Он достал из камней непочатую бутылку и, сунув горло ее в усы себе, долго тянул вино; его волосатый кадык жадно двигался, борода ошетичилась. Три пары глаз молча и строго следили за ним.





— Скучно говорить об этом, — сказал он, передавая бутылку товарищам и разглаживая обрызганную бороду.

— Когда я вернулся в деревню, было ясно, что мне нет места в ней: все меня боялись. Лукино рассказал, что жить стало еще хуже за этот год. Он был скучен, как головня, бедняга. «Так», — подумал я и пошел к этому Грассо; он очень испугался, увидев меня. «Ну, я вернулся, — сказал я, — теперь уходи ты!» Он схватил ружье, выстрелил, но оно было заряжено на птицу дробью, а стрелял он мне в ноги. Я даже не упал. «Если б ты меня и убил, я пришел бы к тебе из могилы, я дал клятву мадонне, что выживу тебя отсюда. Ты упрям, я — тоже». Мы схватились, и тут я, нечаянно, сломал ему руку. Я этого не хотел, он первый бросился на меня. Прибежал народ, меня взяли. На этот раз я сидел в тюрьме три года девять месяцев, а когда кончился срок, мой смотритель, человек, который знал всю эту историю и любил меня, очень уговаривал не возвращаться домой, а идти в работники, к его зятю, в Апулию, — там у зятя много земли и виноградник. Но, конечно, я уже не мог отказаться от начатого. Я шел домой с твердым намерением не болтать больше лишних слов, я уже понял тогда, что из десяти — лишних девять. У меня в сердце было одно: «уходи!» Я пришел в деревню как раз в воскресенье, прямо к мессе, в церковь. Грассо был там, он сразу увидел меня, вскочил на ноги и стал кричать на всю церковь: «Этот человек явился убить меня, граждане, его прислал дьявол по душу мою!» Меня окружили раньше, чем я дотронулся до него, раньше, чем успел сказать ему, что надо. Но — всё равно, он свалился на плиты пола, — его разбил паралич так, что отнялась вся правая сторона и язык. Умер он через семь недель после этого... Вот и всё. А люди создали про меня какую-то сказку... Очень страшно, но — всё неправда.

Он усмехнулся, взглянул на солнце и сказал:

— Пора начинать...

Трое людей, молча и не спеша, поднялись на ноги, горбоносый уставился глазами в рыжие, жирные щели скалы и повторил:

— Будем работать...

Солнце в зените, и все тени сожжены им.

Облака на горизонте опустились в море, вода его стала еще спокойнее и синей.



ПЕПЕ

Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку, — дует с моря и носит ее, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко:

— Италия прекрасная,
Италия моя!..

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с расковыренным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка.

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. — Вот лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

— Нам, — говорят они, — нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.

Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё слышит и всё помнит.

Скучно, ногами похожими на ножницы шагает англичанин, — Пепе впереди его и напевает что-то из зауспокойной мессы или печальную песенку:

— Мой друг недавно умер,
Грустит моя жена...
А я не понимаю,
Отчего она так грустна?

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе.

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада.

— Заработаешь сольдо! — сказала она. — Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но, все-таки, я устал, дорогая синьора! — вздохнув, ответил Пепе. — Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула.

— Отвечай, ты отнес яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки, — пусть, думаю,

они сравнивают меня с ослом, я всё стерплю из уважения к синьоре, — к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью, — ага, подумал я, ну, это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников, — вы бы очень смеялись!

— Они растащили мои плоды!? — закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

— О, нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек, разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все проклятия, известные ей, — он слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников, — ах, если б вы видели это! — вы дали бы мне два сольдо, вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя, — она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливаясь здоровым соком, как груша в августе.

Брат спросил ее однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочу, — с гордостью ответила она.

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и задумался, а потом спросил снова:

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

— Может быть, больше...

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые, — сказал Пепе.

— Зачем?

— Ты видишь — какие у меня?

Видеть это было трудно, — от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного.

— Да, — согласилась сестра, — тебе необходимо одеться! Но он ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!

— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светлосерого цвета, и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать.

— Дай-ко нож! — сказал он.

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах веревочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж.

— В чем дело? — спросил он.

И тогда Пепе сказал:

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки, и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

— Да-а? — очень удивился Пепе. — Зачем?

— Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством:

— Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много брюк, а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары, даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день...

Американец расхохотался; ведь иногда и богатому бывает весело.

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк. Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой, тонкие руки за спиной, и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько, — он всегда поет.

Хорош он также, когда смотрит на цветы, — лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шелковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поет:

— Фиорино-о... фиорино-о...

Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, — Пепе поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле.

— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу.

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползет краб. И в тишине, над голубою водой, тихонько течет звонкий, задумчивый голос мальчика:

— О, море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:



— Этот будет анархистом!

А кто подобрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу, — те говорят иначе:

— Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит свое:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.

СОДЕРЖАНИЕ

„Сказки об Италии“ М. Горького. Вступительная статья К. Муратовой	3
Забастовка *	13
Встреча детей	19
Полуденное солнце	25
Туннель	28
Свадьба	32
Пропагандист	38
Мать	45
Урод	54
Мать изменника	59
Заповедь рыбака	67
Как Джiovанни стал социалистом	73
Беседа	81
Джiovанни Туба	86
Старик Чекко	92
Ночью	98
Молодая Италия	106
Ненависть	109
Пепе	116

* Нумерация „Сказок“, данная М. Горьким в полном сборнике „Сказок об Италии“, в настоящем издании заменена индивидуальными заглавиями, бытующими в литературе.

ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Ответственный редактор *С. Шиллеюдский*.

Художник-редактор *Ю. Киселев*. Технический редактор *Т. Лейкина*. Корректор *М. Дмитриева*. Подписано к печати 5/III 1948 г. Печ. л. 7³/₄. Уч.-изд. л. 6,45. Авт. л. 5,18.
Тираж 60 000. М-01325. 2-я фабрика детской книги Детгиза
Министерства Просвещения РСФСР.
Ленинград, 2-я Советская, 7.

1938-1940

5181

~~НАУЧНОЕ БИБЛИОТЕКА~~
~~ДОМА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ~~
~~ДЕТГИЗА~~

250-

~~2 p. 50~~ к.